

Викентий Вересаев

# Два конца



# Викентий Викентьевич Вересаев

## Два конца

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=308632](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=308632)*

### Аннотация

«Был вечер субботы. Переплетный подмастерье Андрей Иванович Колосов, в туфлях и без сюртука, сидел за столом и быстро шерфовал куски красного сафьяна. Его жена, Александра Михайловна, клеила на комод гильзы для переплетов. Андрей Иванович уже пять дней не ходил в мастерскую: у него отекли ноги, появилась одышка и обычный кашель стал сильнее. Все эти дни он мрачно лежал в постели, пил дигиталис и придирался к Александре Михайловне. Сегодня отеки совершенно спали, и Андрей Иванович почувствовал себя настолько лучше, что принялся за работу, которую взял с собой из мастерской на дом...»

# Содержание

I. Конец Андрея Ивановича	5
I	5
II	16
III	30
IV	36
V	45
VI	55
VII	61
VIII	75
IX	85
X	92
XI	99
XII	107
XIII	114
XIV	121
XV	126
XVI	133
II. Конец Александры Михайловны	139
I	139
II	150
III	155
IV	161
V	170

VI	178
VII	191
VIII	200
IX	208
X	217
XI	221
XII	225

# Викентий Вересаев

## Два конца

### I. Конец Андрея Ивановича

#### I

Был вечер субботы. Переплетный подмастерье Андрей Иванович Колосов, в туфлях и без сюртука, сидел за столом и быстро шерфовал куски красного сафьяна. Его жена, Александра Михайловна, клеила на комод гильзы для переплетов. Андрей Иванович уже пять дней не ходил в мастерскую: у него отекли ноги, появилась одышка и обычный кашель стал сильнее. Все эти дни он мрачно лежал в постели, пил дигиталис и придирался к Александре Михайловне. Сегодня отеки совершенно спали, и Андрей Иванович почувствовал себя настолько лучше, что принялся за работу, которую взял с собой из мастерской на дом.

Александра Михайловна с утра зорко следила за его настроением: ей нужно было иметь с ним один важный разговор, и она выжидала для этого благоприятного случая; все время она была очень предупредительна к Андрею Ивановичу, старалась предугадать его малейшее желание.

В комнату вошла шестилетняя Зина, дочь Колосовых, в накинутом на голову большом материнном платке. Она передала матери полубутылку коньяку.

– Хозяин велел сказать, что в последний раз дает в долг, – шепотом сказала она, робко косясь на спину Андрея Ивановича.

Александра Михайловна мигнула ей, чтоб она молчала, и стала накрывать на стол. Достала остатки обеда, подала самовар и заварила чай.

– Ну, Андрюша, довольно работать! Иди ужинать.

Александра Михайловна подошла к Андрею Ивановичу и, поколебавшись, поцеловала его в голову: она не была уверена, в настолько ли хорошем расположении Андрей Иванович, чтобы позволить ей это.

Андрей Иванович терпеливо снес поцелуй и пересел к столу. Увидев коньяк, он просиял.

– Вот спасибо, Шурочка, что припасла, – с умилением произнес он. – Недурно коньячку теперь выпить.

Андрей Иванович опрокинул в рот рюмку, с наслаждением крякнул и взял кусок солонины.

– Э-эх! Ей-богу, как выпьешь рюмочку, то как будто душа в раю находится... Дай-ка хрену!

Они стали ужинать. Зина ела молча; когда Андрей Иванович обращался к ней с вопросом, она вспыхивала и спешила ответить, робко и растерянно глядя на отца: вчера Андрей Иванович жестоко высек Зину за то, что она до восьми ча-

сов вечера бегала по двору. Вчера всем досталось от Андрея Ивановича: жене он швырнул в лицо сапогом, квартирную хозяйку обругал; теперь чувствовал себя виноватым и был особенно мягок и ласков.

– Что же это Ляхов не идет? – спросила Александра Михайловна. – Обещал сейчас же с получки деньги занести, а до сих пор нет.

– Ну, где же сразу! Раньше в «Сербию» нужно зайти, выпить. Ему порядок известен.

Пришла от всенощной квартирная хозяйка. Соседка Колосовых, папиросница Елизавета Алексеевна, воротилась с фабрики. Сквозь тонкую дощатую стену слышно было, как она переодевалась.

– Александра Михайловна, можно у вас кипятку раздобыться? – спросила она сквозь стену.

– Пожалуйста, Лизавета Алексеевна!

В комнату вошла невысокая девушка с очень бледным лицом и строгими, не улыбающимися глазами.

Андрей Иванович конфузливо поздоровался. Елизавета Алексеевна сурово пожала его руку и, отвернувшись, заговорила с Александрой Михайловной. Андрей Иванович чувствовал себя неловко: Елизавета Алексеевна была вчера дома, когда он бросил в Александру Михайловну сапогом.

– Вы бы, Лизавета Алексеевна, напились чаю с нами, – сказал он. – Что вам там одним пить.

– Спасибо. Мне еще к завтраму сочинение нужно писать.

– Ну, что сочинение! Напьетесь и сядете писать.

– Я вместе с чаем буду писать. – Елизавета Алексеевна налила в чайник кипятку. – Как ваше здоровье? – спросила она, не глядя на Андрея Ивановича.

– Слава богу, поправляюсь. Хочу в мастерскую идти. В понедельник – сретенье, во вторник, значит, и пойду. Пора, а то все лежу... Вон и жена всякое уважение теряет: сейчас в макушку меня поцеловала, как вам это нравится!

– Это я любя тебя, – улыбнулась Александра Михайловна.

– А я остался недоволен. Что же это такое, если жена мужа в макушку целует? Это значит – жена выше мужа; ну, а это власть вполне неуместная, хе-хе!

Елизавета Алексеевна ушла, Андрей Иванович потянулся.

– Поработаю еще немножко, пока Ляхов придет. Ты не убирай самовара.

Он сел к столу, поточил нож о литографский камень и снова взялся за работу. Александра Михайловна под села к столу с другой стороны и стала резать бумагу для гильз. Помолчав, она заговорила:

– К Корытовым в угол новая жиличка въехала. Жена конторщика. Конторщик под новый год помер, она с тремя ребятами осталась. То-то бедность! Мебель, одежду – все заложили, ничего не осталось. Ходит на водочный завод бутылки полоскать, сорок копеек получает за день. Ребята рваные, голодные, сама отрепанная.



Александра Михайловна украдкой взглянула на Андрея Ивановича. Андрей Иванович недовольно сдвинул брови: по тону Александры Михайловны он сразу заметил, что у нее есть какая-то задняя мысль.

Она продолжала:

– Говорит мне: то-то дура я была! Замужем жила, ни о чем не думала. Ничего я не умею, ничему не учена... Как жить теперь? Хорошо бы кройке научиться, – на Вознесенском пятнадцать рублей берут за обучение, в три месяца обучают. С кройкой всегда деньги заработаешь. А где теперь учиться? О том только и думаешь, чтоб с голоду не помереть.

Андрей Иванович с усмешкою спросил:

– Тебе-то какая печаль? Все сплетни в домах знаешь, кто что делает. Настоящая гаванская чиновница! Видно, самой делать нечего.

– «Какая печаль»... Будет печаль, как самой придется бутылки полоскать, – сказала Александра Михайловна, понизив голос.

Андрей Иванович выдохнул воздух через ноздри и взглянул на Александру Михайловну.

– Послушай, Саша, опять ты этот разговор заводишь? – угрожающе произнес он. – Я тебе уж раз сказал, чтоб ты не смела со мною об этом говорить. Я это запретил тебе, понимаешь ты это или нет?

– Андрюша, ну, ты подумай же сам! Ты вот все хворишь, – ведь не ровен час, все может случиться. Куда я тогда

денушь и что стану с ребенком делать?

– Ах, оставь ты, пожалуйста, свои глупости! Ты все хочешь доказать, что у меня чахотка. Никакой у меня чахотки нет, просто хроническое воспаление легких, мне сам доктор сказал. Вот придет лето, поживу в Лесном, и все пройдет.

– Так почему же мне все-таки не поучиться, пока есть время?

– Потому, что твое дело – хозяйство. У тебя и так все не в порядке; посмотри, какой самовар грязный, посмотри, какая пыль везде. Словно в свином хлеве живем, как мужики! Ты лучше бы вот за этим смотрела!

Александра Михайловна замолчала. Андрей Иванович, сердито нахмурившись, продолжал шерфовать. Его огромная, всклокоченная голова с впалыми щеками мерно двигалась взад и вперед, лезвие ножа быстро скользило по камню, ровно спуская края сафьяна.

– Тебе же бы от этого помощь была, – снова заговорила Александра Михайловна. – Ты вот все меньше зарабатываешь: раньше семьдесят – восемьдесят рублей получал, а нынче хорошо, как сорок придется в месяц, да и то когда не хвораешь; а теперь и совсем пустяки приносишь; хозяин вон вперед уж и давать перестал, а мы и в лавочку на книжку задолжали, и за квартиру второй месяц не платим; погребщик сегодня сказал, что больше в долг не будет отпускать. А тогда бы все-таки помощь была тебе.

– Саша! Ради бога, оставь ты говорить о том, чего не по-

нимаешь, сказал Андрей Иванович, стараясь сдержаться. – Я работаю с утра до вечера, содержу тебя, – могу же я иметь хоть то удовольствие, чтоб обо мне заботились! Я хочу, чтоб у меня дома был обед, чтоб мне давали с собой готовый фрыштик. А твои гроши никому не нужны, я и без тебя обойдусь. Ты прежде всего должна быть порядочной женщиной; а если женщина поступает на работу, то ей приходится забыть свой стыд и стать развратной, иначе она ничего не заработает. Ты этого не знаешь, а я довольно насмотрелся в мастерской на девушек и очень много понимаю.

– А вот Елизавета Алексеевна ведь тоже работает.

– Елизавета Алексеевна не тебе чета.

– Так позволь мне хоть в воскресную школу с нею ходить: я еле писать умею. Ум никогда не помешает.

– Тебе ум будет только мешать, – сердито сказал Андрей Иванович.

– Ум никогда никому не может мешать, – упрямо возразила Александра Михайловна.

– Саша, ну, я наконец... прошу! – грозно и выразительно произнес Андрей Иванович. – Замолчи, ради бога! Что-то ты уж и теперь больно умна стала.

Александра Михайловна заволновалась и быстро заговорила:

– А вон прошлое воскресенье ты весь день с каким-то оборванцем пропутался. По всему видно, – жулик, ночлежник, а ты ему пальто отдал!

Андрей Иванович с презрением следил за логическими скачками Александры Михайловны.

– «Жулик»! Который человек беден, тот и называется жулик. А пальто мне не нужно, потому что у меня другое есть, новое.

– Можно было татарину продать; полтора рубля дал бы, а то и два. Нам деньги самим нужны.

– Ты все ценишь на деньги. Деньги – вздор, хлам! Ты говоришь о деньгах, а я говорю о человеке, о честности. Ты одно, а я другое. Он бывший переплетчик, значит мой товарищ, а товарищу я всегда отдам последнее.

– Он все равно пропьет пальто.

– Это тебе неизвестно Мы только с тобою – хорошие люди, а все остальные – жулики, дрянь!

– Ты вот все разным оборванцам отдаешь...

Андрей Иванович грозно крикнул:

– Да замолчишь ли ты наконец?! Чучело!

– Работать ты мне не позволяешь, а сам о нас не заботишься. Смотри, – у ребенка совсем калоши продырявились, а погода мокрая, тает; шубенка вся в лохмотьях, как у нищей; стыдно во двор выпустить девочку.

Андрей Иванович положил нож, скрестил руки на груди и стал слушать Александру Михайловну.

– Тогда бы ты уж должен больше о нас заботиться... На черный день у нас ничего нету. Вон, когда ты у Гебгарда разбил хозяйской кошке голову, сколько ты? – всего два меся-

да пробыл без работы, и то чуть мы с голоду не перемерли. Заболеешь ты, помрешь – что мы станем делать? Мне что, мне-то все равно, а за что Зине пропадать? Ты только о своем удовольствии думаешь, а до нас тебе дела нет. Товарищу ты последний двугривенный отдашь, а мы хоть по миру иди, тебе все равно!

Александра Михайловна вдруг оборвала себя. Андрей Иванович смотрел тяжелым, неподвижным взглядом, в его зрачках горело то дикое бешенство, перед которым Александра Михайловна всегда испытывала прямо суеверный ужас.

– Я тебе говорю, чтобы ты мне никогда не смела говорить того, что ты мне сейчас сказала, – сдавленным голосом произнес Андрей Иванович. – Я это запрещаю тебе!!! – вдруг рывкнул он и бешено ударял кулаком по столу. – Погань ты такая! От чьих трудов ты такая гладкая и румяная стала? Я для вас надрываюсь над работою, а ты решаешься сказать, что я о вас не думаю, что мне все равно?

Александра Михайловна была бледна. В ее красивых глазах мелькнуло что-то тупое, упрямое и злобное.

– А зачем же ты тогда...

– Молчать!!! – гаркнул Андрей Иванович и вскочил на ноги. Он быстро оглядел стол, ища, чем бы запустить в Александру Михайловну.

В дверь раздался стук. Елизавета Алексеевна приотворила дверь.

– Александра Михайловна, можно у вас еще кипятку взять?

– Пожалуйста, Лизавета Алексеевна, – обычным голосом ответила Александра Михайловна.

Андрей Иванович загородил собою дверь.

– Кипятку нет, самовар остыл.

Елизавета Алексеевна вспыхнула.

– Простите! – И она закрыла дверь.

Андрей Иванович, стиснув зубы, молча заходил по комнате.

– Что у тебя до сих пор Зина не уложена? – грубо сказал он. – Уже одиннадцатый час. Убери самовар. Ляхов не придет.

Андрей Иванович сел к столу и налил себе коньяку. Выпил рюмку, потом другую. Александра Михайловна видела, что он делает это назло ей, так как она уговаривала его не пить много. Если он теперь напьется, ей несдобровать.

Она молча уложила Зину, убрала самовар. Потом тихо, стараясь не шуметь, разделась и легла на двухспальную кровать лицом к стене.

Андрей Иванович сидел у стола, положив кудлатую голову на руку и устремив блестящие глаза в окно. Он был поражен настойчивостью Александры Михайловны: раньше она никогда не посмела бы спорить с ним так упорно; она пытается уйти из-под его власти, и он знает, чье тут влияние; но это ей не удастся, и он сумеет удержать Александру Михай-

ловну в повиновении. Однако, чтоб не давать ей вперед поч-вы для попреков, Андрей Иванович решил, что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого себя.

Небольшая лампа с надтреснутым колпаком слабо освещала коричневую ситцевую занавеску с выцветшими разводами; на полу валялись шагреновые и сафьянные обрезки. В квартире все спали, только в комнате Елизаветы Алексеевны горел свет и слышался шелест бумаги. Андрей Иванович разделся и лег, но заснуть долго не мог. Он кашлял долгим, надрывающим кашлем, и ему казалось, что с этим кашлем вывернутся всего его внутренности.

## II

Ляхов явился на следующий день после обеда.

Андрей Иванович лежал на кровати злой и молчаливый. Александра Михайловна подала к обеду только три ломтика вчерашней солонины; когда Андрей Иванович спросил еще чего-нибудь, она вызывающе ответила, что больше ничего нет, так как нигде не верят в долг; эта была чистейшая выдумка, – при желании всегда можно было достать. Андрей Иванович ничего не сказал, но запомнил себе дерзость Александры Михайловны.

Ляхов пришел немного навеселе. Это был стройный и сильный парень, с мускулистым затылком и беспечным, удалым взглядом. Нос его был залеплен поперек кусочком пластыря.

– Василий Васильевич, что это? Где вы себе нос ушибли? – встретила его Александра Михайловна, скрывая улыбку.

Ляхов поздоровался и потрогал указательным пальцем пластырь.

– Это у меня вчера на Тучковом мосту с одной барышней недоразумение вышло. – Он поднял брови и почесал затылок.

Оживившийся Андрей Иванович спустил ноги и сел на кровати.



– «Недоразумение!..» – засмеялся он.

– Действием! Недоразумение действием, – пояснил Ляхов. – Увязался за нею, стал ей комплименты говорить... А она...

– Ай-ай-ай! – Александра Михайловна смеялась и качала головою. – Погодите, вот увижу Катерину Андреевну, я ей расскажу, что вы вчера на Тучковом мосте делали.

Катерина Андреевна, работница картонажной мастерской, была сожительница Ляхова.

– Ну что, как здоровье твое? – обратился Ляхов к Андрею Ивановичу, став серьезным.

– Поправляюсь понемножку. После сретенья выйду на работу. Что в мастерской у нас хорошенького?

Ляхов неохотно ответил:

– Что хорошенького! Все то же!.. Деньги принес тебе.

Он достал из кошелька четыре рубля пятьдесят копеек и подал Андрею Ивановичу.

– Ни копейки вперед не дает хозяин. Мы уж с Ермолаевым поругались с ним за тебя... Уперся: нет! Такой жох.

Андрей Иванович пересчитал деньги и сумрачно сунул их в карман жилетки. Ляхов быстро спросил:

– Тебе, Андрей, денег не нужно ли? У меня есть.

– Ну, вот еще! Нет, мне не нужно, – поспешно и беззаботно ответил Андрей Иванович. – Что ж, в «Сербию», что ли, пойдем?

Он отозвал Александру Михайловну в кухню, отдал ей че-

тыре рубля, а себе оставил пятьдесят копеек.

– Андрюша, ты б лучше не ходил, – просительно сказала Александра ихайловна. – Ведь тебе нельзя пить, доктор запретил!

– Это ты меня, что ли, учить будешь, как я обязан поступать? – злобно ответил Андрей Иванович и воротился к Ляхову.

В «Сербии», по случаю праздника, былолюдно и шумно. Половые шныряли среди столов; из «чистого» отделения неслись звуки органа, гремевшего марш тореадоров из «Кармен»; ярко освещенный буфет глядел уютно и приветливо.

У Андрея Ивановича сразу стало весело на душе. Целую неделю он провел дома, в опротивевшей обстановке, в мелких и злобных дрязгах с Александрой Михайловной. Теперь от шумной веселой толпы, от всей любимой, привычной атмосферы «Сербии» на него пахнуло волею и простором.

Андрей Иванович и Ляхов прошли в заднюю комнату, где всегда можно было встретить знакомых. Они сели к столику около камина, украшенного большим тусклым зеркалом в позолоченной раме, и заказали полдюжины портеру.

Ляхов рассказывал о своем вчерашнем романе на Тучковом мосту. Подошел знакомый артельщик, Иван Иванович Арсентьев, солидный человек с цыганским лицом и с зонтиком; Андрей Иванович усадил его к своему столу.

– Да мне, собственно, уж идти пора, – возражал Арсентьев.

– Ну, ну, пустяки какие! Выпьете стаканчик портеру и пойдете. За ваше здоровье!

Они чокнулись втроем и выпили. Андрей Иванович сейчас же снова налил стаканы.

– Что это, никак у тебя новая палка? – обратился он к Ляхову. – С обновочкой! Покажи-ка!

– Палочка, брат... сенаторская! – с гордостью ответил Ляхов. Он поднял палку, с силою махнул ею в воздухе. Палка была крепкая и гладкая, с массивной головкой, вся из черного дерева.

Андрею Ивановичу она очень понравилась; он любил хорошие вещи.

– Хороша палочка! Дай поправлюсь немножко, обязательно заведу такую... А-а, Муравейчик, здравствуй! – вдруг рассмеялся Андрей Иванович. – Куда бежишь? Садись с нами, выпьем, – расходы пополам!

«Муравейчик» – молодой переплетный подмастерье Картавцов – торопливо проходил через комнату, держа под мышкой две бутылки пива.

– Не могу, Андрей Иванович, гости дома, – ответил он поспешно.

Андрей Иванович, смеясь, оглядывал приземистую фигуру Картавцова с выгнутыми ногами и круглой стриженной головой на короткой шее.

– Ну, ну, какие там гости, все ты врешь! «Гости»!.. Кто же для гостей две бутылки ставит? Придет он домой, – обра-

тился Андрей Иванович к Арсентьеву, – запрутся вдвоем с женою и выпьют пиво, вот им и праздник!

– Ей-богу, Андрей Иванович, тетка из Твери приехала, – скороговоркой произнес Картавцов и поспешил к выходу, переваливаясь на ходу и шевеля лопатками.

Ляхов вдогонку крикнул:

– Ты бы для тетки-то на третью бутылку раскошелился!

– Ей-богу, чудачок! – засмеялся Андрей Иванович, обратившись к Арсентьеву. – Я его Муравейчиком называю. Никогда ни копейки не поставит на угощение! Работает, работает, суетится, – в субботу всю получку домой несет. Жена у него такая же, – коротенькая, крепкая, тоже у нас работает в мастерской... Принесут домой деньги – считают, рассчитывают: это вот на керосин, это на сахар, это в сберегательную кассу... Настоящие немцы! Кто заболет из товарищей или помрет, – подойдешь к нему с подписным листом... «Я... я потом!» – и убежит; а потом в самом конце листа мелко-мелко напишет: «Григорий Картавцов – десять копеек»... Вот Васька, он у нас молодчина! – сказал Андрей Иванович и хлопнул Ляхова по коленке. – Ни над чем для товарища не задумается... Будь здоров, Васька! За товарищество!

Они выпили уже по четыре стакана. У Андрея Ивановича слегка затуманилось в голове и на душе стало тепло. Он с довольной улыбкой оглядывал посетителей, и все казались ему приятными и симпатичными.

В дверях показался невысокий, худощавый человек с ис-

питым, развязным лицом и рыжеватыми, торчащими усами; картуз у него был на затылке, пальто внакидку: под мышкой он держал цитру в холщовом мешке.

Вошедший остановился на пороге и, посвистывая сквозь зубы, оглядел комнату.

– Сенька! – окликнул его Андрей Иванович. – Иди скорее к нам! Вот нам кого не хватало! Иди, садись!.. Это, господа, Захаров, бывший переплетчик. Он нам такую музыку изобразит на цитре! И сыграет и споет, – все вместе... Голубчик, как я рад! Садись! – повторял Андрей Иванович и тряс руку Захарова.

Захаров положил мешок под стул, сел и уперся руками в колени. Ляхов встрепенулся и щелкнул пальцами.

– Эге! На цитре играете? Тащите цитру!

– Да неохота чтой-то играть, – ответил. Захаров и предупредительно принял из рук Андрея Ивановича стакан портера.

– Ну, неохота! Всячески ты же нам должен сыграть... Пей, пей раньше!

Андрей Иванович ужасно обрадовался Захарову: это был тот самый «оборванец», которому Андрей Иванович подарил пальто и который, по уверению Александры Михайловны, обязательно должен был его пропить; между тем пальто было на нем.

– Чего там – «неохота»!.. Валяй!..

Ляхов вытаращил глаза и, размахивая рукою, запел басом:

Давно готова лодка,  
Давно я жду тебя...

Захаров отнекивался. Только после долгих упрашиваний он вынул цитру и, разложив на столе, стал настраивать. Арсентьев, солидно опершись на зонтик, брезгливо оглядывал его отрепанный пиджачишко и дырявые штиблеты.

Захаров взял несколько аккордов, потрянул волосами, закинул голову и запел тонким, очень громким фальцетом:

Смотря на луч пурпурного заката,  
Стояли мы на берегу Невы...

Взгляды присутствующих обратились на него. Захаров пел с чувствительным дрожанием и медленно поводил закинутой головой. Подошел отставной чиновник, худой, с жидкой бородкою и красными, мягко смотрящими глазами. Он умиленно сказал:

– Как ты, милый мой, славно играешь! Ну-ка, вот тебе на струны!

Чиновник протянул пятиалтынный. Захаров кивнул головой, сунул монету в жилетный карман и залился еще слаще:

До гроба вы клялись любить поэта...  
Страшась людей, боясь людской молвы,  
Вы не исполнили священного обета,

Свою любовь – и ту забыли вы...

Чиновник слушал и оглядывал окружающих влажными, умиленными глазами.

– Самодельный инструмент-то! – обратился он к Андрею Ивановичу. Андрей Иванович с гордостью ответил:

– Он у нас на все руки мастер... Садитесь, пожалуйста, к нам, – что же вам стоять!

Чиновник переставил на их стол бутылку с пивом и сел.

– А ну-ка, милый мой, сыграй «Выйду ль я на реченьку», – национальную!.. Знаешь? – сказал он Захарову.

– Извините, этой не знаю. «По улице мостовой» могу.

Захаров выпил стакан портеру, рванул струны, – они зазвенели, зазвенели, и задорно-веселая песня полилась. Чиновник раскачивал в такт головою, моргал и с блаженной улыбкою оглядывал слушателей. Ляхов поднялся с места и, подперев бока, притоптывал ногами.

Подошла пожилая женщина в длинной, поношенной тальме и в платочке.

– Какая у вас прелестная музыка! Вы мне позволите послушать?

У нее было круглое и довольно еще миловидное лицо, но у углов глаз было много морщинок. Она держалась жеманно и разыгрывала даму. Это была фальцовщица из той же мастерской, где работали Андрей Иванович и Ляхов.

Красавица ты моя,  
Есть словечко до тебя! –

пропел Ляхов и схватил ее сзади за талию. Он сел к столу и посадил фальцовщицу к себе на колени.

– Тебя Авдотьей Ивановной, что ли, звать? Ну-ка, Авдотья Ивановна, опрокинем по бокальчику?

Авдотья Ивановна, жеманясь, возразила:

– Ах нет, я не для этого! Я только к тому, что какая у вас прекрасная музыка.

Портер, однако, выпила.

– Конфетка ты моя!.. Зазнобушка! – ломался Ляхов и крепко прижимал ее к себе.

Захаров вдруг запел невероятно циничную песню, от которой покраснел бы ломовой извозчик, с припевом:

Амигдон, Амигдон!  
Амигдон-мигдон-мигдон!

Он пел под общий хохот, топорщил усы и выкатывал глаза на Авдотью Ивановну. Та слушала с широкой улыбкой, неподвижно глядя ему в глаза, и медленно моргала.

К ней подошел половой.

– Позвольте деньги за пиво!

– За какое пиво? – растягивая слова, спросила фальцовщица. – Что ты, дурак, пристаешь? Принеси сюда мое пиво.

– Пиво выпито-с, нужно деньги заплатить.



– Что тебе надо? – Авдотья Ивановна ждала, чтобы Ляхов взял ее пиво за свой счет. – Болван! Никакого не понимает обращения. На!..

Она встала, достала из кармана восемь копеек и бросила половому. Когда Авдотья Ивановна снова хотела сесть, Ляхов неожиданно выдернул из-под нее стул, и она упала.

– Ну, что вы шутите? – проговорила фальцовщица, поднимаясь.

Ляхов схватил ее сзади под мышки, поднял три раза на воздух и повалил лицом на Арсентьева. Арсентьев недовольно отстранился. Андрей Иванович с отвращением следил за фальцовщицей. Он грубо сказал:

– Слушай, Васька, можно бы ее убрать отсюда! Ей в нашей компании совсем не место!

– Любовь-то мою убрать?! Как же это можно? Я без нее с тоски иссохну! Дунька, садись!

Ляхов снова посадил ее к себе на колени.

– Вот еще выпьем с тобой по стаканчику и пойдем! К тебе, что ль, пойдем! Одна живешь? – спрашивал он, нисколько не понижая голоса. – Пойдем мы с тобою, дверь на клю-уч...

Авдотья Ивановна как будто не слышала циничных мерзостей, которые ей говорил Ляхов.

– Какая у вас прекрасная музыка! Будьте столь любезны сыграйте нам еще что-нибудь хорошенькое! – обратилась она к Захарову.

Тот ответил ей грязною острою. Андрей Иванович си-

дел темнее ночи. Остальные смеялись.

Захаров снова заиграл на цитре и тонким фальцетом запел «Маргариту».

Мар-га-рита, пой и веселися,  
Мар-га-рита, смейся и резвися,  
Мар-га-рита, все мои мечты,  
Чтобы дверь открыла, рыла, рыло ты!

Ляхов вскочил, заложил большие пальцы за жилетку и начал перебирать ногами, поводя и подрагивая задом.

За соседним столом сидели за водкою два дворника. Один из них, с рыжей бородою и выпученными глазами, был сильно пьян. Заслышав музыку, он поднялся и стал плясать, подогнув колени и согнувшись в дугу. Плясал не в такт, щелкал пальцами и припевал:

Гуляю день, гуляю ночь,  
Гуляю всю неделюшку,  
Ах, занимаюсь я гульбой...

– Садись на место! Ишь заплясал, – засмеялся его сосед и насильно усадил рыжебородого дворника на стул. – Не для нас с тобой музыка заказана.

Дворник злобно таращил глаза на канканировавшего Ляхова.

– Дурак этакий! Плясать взялся! Нешто так нужно пля-

сать? Архаровец!

Ляхов крикнул:

– Ты что, утопленник, заговорил? Сиди да лакай водку!

Кругом хохотали. Дворник озлился.

– Утопленник? Я тебе сейчас покажу утопленника?

– Я, брат, с живыми людьми рад говорить, а с утопленниками – извини, не могу.

– Залепил нос себе, сукин сын! Я тебе шейного пластыря наклею!

– Молчи, утопленник ладожский!

Дворник рванулся со стула. Ляхов, бледный, с весело смеющимися глазами, стоял и ждал.

Сосед обнял дворника за плечи и усадил на место.

Ляхов воротился к своим. На его стуле сидела Авдотья Ивановна и со своею широкою улыбкой, словно не понимая, слушала цинические издевательства Захарова. Ляхов вдруг увидел, какое у нее поблекшее, морщинистое лицо, какая некрасивая, растерянная улыбка... Он зашел сзади, поднял на стуле фальцовщицу и изо всей силы швырнул ее вместе со стулом к выходной двери. Авдотья Ивановна ударилась грудью в спинку стула, на котором сидел рыжебородый дворник, и оба они, вместе со стульями, повалились в кучу.

Зазвенели и раскатились по полу упавшие бутылки. Вбежали половые, фальцовщица хрипло крикнула:

– Городовой!

Ляхов, хохоча про себя, поспешно сел к столу и стал пить

пиво.

Дворник, путаясь в юбках Авдотьи Ивановны, в бешенстве вскочил и бросился ее бить. Его с трудом оттащили. Авдотья Ивановна несколько раз пробовала встать, но не могла: она наступала на свои юбки и тальму, может быть, была пьяна. Половые подняли ее и вытолкали на улицу.

У чиновника покраснел нос, он жалобно заморгал глазами.

– Женщину! – произнес он, качая головою. – За что он так с женщиной поступил? – обратился он к Андрею Ивановичу. – Силу показал над кем!

– Гр-рязь этакая! Ее давно следовало вышвырнуть вон! – ответил Андрей Иванович.

Чиновник грустно сказал:

– Нет, это не годится! Я люблю веселость и спокойный характер, а к чему обижать людей?

– Ей тут было не место! Ну, скажите, пожалуйста, разве может порядочная женщина слушать такие песни? Она должна покраснеть и уйти, а эта сидит, пялит глаза: «Ах-х, какая у вас прекрасная музыка!» Это неприлично для женщины, раз она не публичная женщина.

– Нет, я люблю веселость и спокойный характер, – грустно повторял чиновник.

– Всячески же ее присутствие тут было неблагоприятно, – поддержал Андрея Ивановича Арсентьев.

Захаров засмеялся.

– В гнилой трубе две трубы! Настоящая ассенизация!

– Ну, черт с нею! – сказал Андрей Иванович. – Еще разговаривать об ней! Плюньте вы на нее! – обратился он к чиновнику. – Выпьем лучше с вами! А?

Фальцовщица исчезла, и к Андрею Ивановичу воротилось хорошее расположение духа. Он заказал водку и солянку.

Ляхов взял руку Захарова и с размаху хлопнул ладонью по его ладони.

– Молодчина, Сенька, ей-богу! Ловко играешь, сукин ты сын этакий! Ну-ка, хлопнем!

– Будьте здоровы! – ответил Захаров, чокаясь. Он опрокинул в рот рюмку водки и молодецкато провел рукою по волосам. – Вы знаете, как сказано в поэзии: «Лови, лови часы любви, минуты наслажденья...» Вы не смотрите, что это пуштяковина; это не зря сказано... Кинарейку поймай-ка! Другой ее этак – цоп! Разве можно так? Нужно брать тонко!..

Чиновник отошел от них. Он стоял у соседнего стола, качал головой и говорил сидевшим за пивом трем наборщикам:

– Я люблю веселость и спокойный нрав... А за что же женщину бить? Разве это благородно?

### III

Народу все прибывало. Лампы-«молнии» с хрустальными подвесками тускло освещали потные головы и грязные, измазанные горчицею скатерти. Из кухни тянуло запахом подгорелого масла и жареной рыбы. В спертom, накуренном воздухе носились песни, гам и ругательства.

Андрей Иванович пил рюмку за рюмкой. В душе было горячо, хотелось всех любить, хотелось сплотить всех вокруг себя и говорить что-нибудь хорошее, сильное и важное.

Полбутылка портеру, которую половой, откупорив, заткнул пробкою, согрелась, и пробка с выстрелом вылетела из горлышка; пена брызнула в стороны, пробка ударилась в низкий потолок и упала на сидевшего за соседним столом наборщика.

Наборщик, бледный молодой человек, с очень высоким узким лбом, сердито оглянулся.

– Послушайте, я вас попрошу поосторожнее! – угрожающе произнес он, отирая голову.

Андрей Иванович добродушно ответил:

– Мы нечаянно, – что там!

– «Поосторожнее»! – передразнил Ляхов. – Ты это портеру говори, а не нам! Объявился с претензиями!

Наборщик медленно повернул к Ляхову свое бледное лицо и молча смотрел на него.

– Поглядел бы раньше, швырял ли в него кто пробкой. Нет, сейчас в амбицию вломился, – «поосторожнее»! Прохвост паршивый!

Андрей Иванович пересел к наборщику.

– Ну, что там! Сказано, нечаянно... Чего вы?... Разве не бывает различных несчастных обстоятельств? Выпьем лучше вместе для знакомства.

Ляхов, развалясь на стуле, говорил:

– Что ж, пойдем из-за полбутылки к мировому!

– «Нечаянно»!.. Я рад, – совершенно справедливо, – ответил наборщик Андрею Ивановичу, – но к чему же ругаться, как этот господин?

Андрей Иванович воскликнул:

– Друзья! Выпьем!.. Ну, неужто мы из-за этого станем поднимать скандал? Позвольте спросить, чем вы занимаетесь?

– Наборщики.

– Ну, а мы переплетчики! Все мы трудящие люди, из-за чего же ради мы будем ссориться? Из-за полбутылки портера?... Друзья, друзья!.. Пойдем, Вася, к ним! – он потащил Ляхова к наборщикам. – Ну, помиритесь, поцелуйтесь!.. Человек, еще полдюжины портеру!

– Позвольте, почему вы рассердились? – спросил Ляхов, садясь к наборщикам. – Вы должны были раньше поглядеть, отчего случилось дело. А вы сейчас же начинаете ворочать глазами и говорить различные угрожающие выражения.

– Совершенно справедливо! А только для чего вы...

Нет, позвольте, я вам все сейчас объясню! Мы сидим, портер хлопнул, чем мы виноваты? Вы к бутылке должны были со своим замечанием отнесись, а не к нам...

Андрей Иванович взял провинившуюся бутылку портера.

– Ну, ну, дурак! – И он совал бутылку к губам наборщика. – Мирись сейчас же с бутылкой! Целуйся с ней без разговоров!

– Я рад-с! Очень приятно познакомиться! – Наборщик галантно раскланялся с бутылкой и три раза поцеловал ее накрест.

– Да он с нею уже давно знаком! – сказал его сосед. – Эка, подумаешь, в первый раз знакомится!

Андрей Иванович грозно крикнул половому:

– Гаврюшка! Я тебе сказал – еще полдюжины портеру!

Половой подошел.

– Буфетчик не отпускает, Андрей Иванович; с вас и то полтора рубля следует. Потрудитесь раньше заплатить.

– Убирайся к черту! Скажи буфетчику, пусть запишет.

– За вами и то уж шесть рублей записано.

Андрей Иванович сунул руку в карман жилетки, там было всего пятьдесят копеек. Он спросил Ляхова:

– У тебя много, Вася?

Ляхов обшарил карманы и набрал семьдесят копеек. Арсентьев поднялся и протянул руку Андрею Ивановичу.

– До свиданья! Время идти, – сказал он.

Андрей Иванович придержал его руку.



– Слушайте, нет ли у вас до завтра двух целковых?

Лицо Арсентьева сделалось холодным и скучающим.

– Нету при себе, Андрей Иванович! С удовольствием бы.

Андрей Иванович качал головой и с презрением смотрел ему в глаза.

– Ж-жох ты этакий! Раз что мы угощаем, так разве бы я вам завтра не отдал? Неохота идти сейчас домой за деньгами, только и всего.

Он отвернулся от Арсентьева. Взгляд его упал на Захарова; Андрей Иванович просиял; он подсел к нему на стул и обнял Захарова рукою.

– Вот что, Сенька, слушай! Я сейчас напишу жене записку, а ты сходи и отнеси. Пусть поглядит на тебя, хлындра. Этакие грязные взгляды: зачем, говорит, ты ему пальто отдал. Он его пропьет!.. Пускай посмотрит, пропил, ли ты... Я ей напишу, чтоб прислала с тобой два рубля. Ладно, а?

Захаров согласился. Андрей Иванович, шлепая калошами, пошел к буфету, заплатил рубль двадцать копеек и, взяв у буфетчика карандаш, написал на клочке бумаги: «Саша! Пришли немедленно с посланным два рубля: очень необходимо».

Захаров ушел. Подали еще портеру. Андрей Иванович сидел с наборщиками, целовался с ними и ораторствовал:

– Вы трудящие люди, и мы трудящие люди!.. Об вас Некрасов сказал: «Вы все здоровьем хлипки, все зелены лицом!» Почему? Потому что вам приходится дышать свин-

цовой пылью. Мы – золотообрезчики, мы дышим бумажной пылью... И нам и вам в чахотке помирать!.. Четыре года назад мой названный брат Фокин просил меня, чтобы я его научил делать золотые обрезы. Я его стал отговаривать, что это вредно для груди. «Ну, – говорит, – тебе жалко, чтоб я столько же не зарабатывал, как ты». Жалко? О нет, мне не жалко!.. Научил его, а теперь он уж три года как на Смоленском лежит; Романов сейчас от чахотки умирает. У меня хроническое воспаление легких, скоро тоже чахотка будет... Верно ли?... Товарищи! И вы и мы работаем для просвещения! Мы должны друг другу дать руки!

– Вер-рно! – повторял, поникнув головою, бледный наборщик с высоким лбом и стучал стаканом по столу.

Ляхов отстал от компании. Он сидел на другом конце комнаты с нарумяненной девушкой в шляпе с широкими полями и пышными перьями. Вскоре он вместе с нею исчез из «Сербии».

Захаров воротился. Он встряхивался, словно его сейчас окатили водою, и с размахом швырнул на стол свою фуражку с надорванным козырьком.

– Ффу-фу-фу-фу-фу! Ну и побывал же я в баньке!

Андрей Иванович спросил:

– Принес?

– Черта с два принес! Не знал, как ноги унести!

– Почему так?

– Убирайтесь, говорит, вон отсюда!.. Жена-то ваша. Я

спрашиваю: какой же будет ответ? «Никакого ответа не будет!»»

Андрей Иванович с блуждающей улыбкою смотрел на Захарова. Не веря ушам, он медленно переспросил:

– Так и сказала?

– А ты как думал? Так, брат, и отрезала! – иронически подтвердил Захаров; он с чего-то стал говорить Андрею Ивановичу «ты».

Андрей Иванович выпил залпом два стакана портеру и вышел из «Сербии».

Шел дождь, ветер бурными порывами дул с моря. На проспекте было пустынно, мокрые панели блестели под фонарями масляным блеском. Андрей Иванович быстро шагал, распахнув пальто навстречу ветру.

## IV

После того как Андрей Иванович и Ляхов ушли в «Сербию», Александра Михайловна перемыла посуду, убрала стол и села к окну решать задачу на именованные числа. По воскресеньям Елизавета Алексеевна, воротившись из школы, по просьбе Александры Михайловны занималась с нею. Правду говоря, большого желания учиться у Александры Михайловны не было; но она училась, потому что училась Елизавета Алексеевна и потому, что учение было для Александры Михайловны запретным плодом.

Она попробовала решить задачу, взглянув предварительно в решения. Ничего не вышло. Александра Михайловна погрызла карандаш, подумала и, отложив задачник, потянулась.

Было скучно. По оконным стеклам текли струи воды, в квартир; стояла тишина; Зины не было, – она бегала по двору. Александра Михайловна достала из комода деньги, которые ей оставил Андрей Иванович, и стала их распределять, на что их употребить. Два рубля решила отдать хозяйке за квартиру, рубль заплатить по книжке в мелочную лавочку, остальное оставила на расходы. Покончив расчеты, Александра Михайловна спрятала деньги, зевнула и стала ходить по комнате. Из всех углов ползла на нее мертвая, томительная скука, но Александра Михайловна привыкла к ней и ма-

ло тяготилась ею.

Сняла кофточку, распустила по белым, полным плечам свою густую косу и стала причесываться перед зеркалом. Сделала себе китайскую прическу, потом греческую, потом начала прикидывать, как бы вышло, если бы подрезать спереди гривку. Александре Михайловне давно хотелось пустить себе на лоб гривку и завивать ее, но Андрей Иванович строго запретил ей это.

Темнело. Александра Михайловна вышла в кухню, к квартирной хозяйке. Старуха хозяйка, Дарья Семеновна, жила в кухне вместе с дочерью Дунькой, глуповатой и румяной девушкой, которая работала на цементном заводе. Они пили кофе, Александра Михайловна подседа к ним, но от предложенного кофе решительно отказалась.

Стали беседовать о вчерашней драке, разыгравшейся на лестнице между живописцем вывесок и пьяным приказчиком. Хозяйка сообщила несколько новых подробностей; она узнала их утром от жены живописца. Но вскоре разговор истощился; вчера они уже часа три говорили об этой драке.

Дарья Семеновна послала Дуньку в лавочку за керосином. Александра Михайловна спохватилась, что Зина до сих пор бегаёт на дворе. Она попросила Дуньку на обратном пути разыскать Зину и привести домой, а сама пошла к себе.

Походила по комнате, стала напевать шансонетку, которую слышала летом на открытой сцене в Крестовском:

Радость наша –  
Доктор Яша  
Воротился из вояжа!..

На дворе зажгли фонарь. Тусклый свет лег на потолок около шкапа. На проспекте звенела конка. Александра Михайловна села в кресло и задремала.

Воротилась Дунька и привела с собою Зину. Александра Михайловна, зевая, зажгла лампу. Зина иззябла, руки у нее были красные, ноги мокрые. Александра Михайловна начала ее бранить, что она так долго не возвращалась домой. Зина слушала и весело топала ногами; матери она нисколько не боялась и была при ней совсем другою, чем при отце.

– Ай! Затопи печку, мама! – крикнула Зина в самый разгар поучений.

– Что ты орешь? – строго заметила Александра Михайловна. – Главное – «ай»! Как будто в самом деле есть чего!.. Не бегала бы по двору до ночи, так и не было бы холодно. На дворе грязь, слякоть, а она бегают.

Смеясь, Зина крикнула еще громче:

– Караул! Холодно!

Александра Михайловна дала ей два шлепка. Зина захныкала.

– Когда тебе говорят, ты должна слушать, а не смеяться!

– Да! Когда мне холодно! – плаксиво возразила Зина.

– Печка топлена, от жары, слава богу, деваться некуда. По-

меньше бы бегала по двору, так ничего бы и не было. Вот погоди, воротится отец, я ему расскажу; ты, должно быть, забыла, как он тебя третьего дня отпорол.

В дверях показалась Елизавета Алексеевна, воротившаяся из школы.

– Александра Михайловна, хотите заниматься?

– Да, да, сейчас!

Она суетливо собрала тетрадки, книги и пошла к Елизавете Алексеевне в ее комнату.

Комната Елизаветы Алексеевны была очень маленькая, с окном, выходившим на кирпичную стену. На полочке грудою лежали книги, и среди них желтели обложки сочинений Достоевского и Григоровича – приложений к «Ниве».

Александра Михайловна сказала:

– Задачи у меня не вышли, Лизавета Алексеевна; думала-думала, проверяла-проверяла, – не сходятся с решением! – И она с недоумением пожала полными плечами.

Елизавета Алексеевна стала решать вместе с нею. Они занимались около часу. Елизавета Алексеевна объясняла, сдвинув брови, серьезная и внимательная, с матово-бледным лицом, в котором, казалось, не было ни кровинки. Она была дочерью прядильщицы. Когда Елизавета Алексеевна была ребенком, мать, уходя на работу, поила ее настоем маковых головок, чтоб не плакала; их было шестеро детей, все они перемерли и выжила одна Елизавета Алексеевна.

В комнате Александры Михайловны Зина громко пела в

пустую кастрюлю, которую держала перед ртом:

Чудный месяц плывет над рекою,  
Все спокойно в ночной тишине...

Александра Михайловна решила, наконец, обе задачи. Елизавета Алексеевна спросила:

– Ну, что, не соглашается Андрей Иванович пустить вас работать?

– Нет! – вздохнула Александра Михайловна. – Слыхали вчера? Чуть было не избил, что посмела сказать.

– Он хочет, чтоб вы его хлеб ели, – сказала Елизавета Алексеевна, понизив голос.

– Да добро бы еще хлеб-то этот был бы! А то ведь сам все болеет, ничего не зарабатывает; везде в долгу, как в шелку, никто уж больше верить не хочет. А обедать ему давай, чтоб был обед! Где же я возьму? Сам денег не дает и мне работать не позволяет.

– Так чего вам заботиться? Без денег нельзя обеда приготовить, он сам может это понять.

– Он этого не хочет понимать: чтоб был обед, только и всего! Сегодня подала солонины – надулся: ты, говорит, не хочешь постараться... Поди-ка сам, постарайся! Придешь в мелочную, лавочник тебе и не отвечает, словно не слышит; сколько обид наглотаешься, чтоб фунт сахару получить.

– Ни за что бы не стала для него стараться! – воскликнула



Елизавета Алексеевна. – Хочет, чтоб вы его хлеб ели – пусть добывает денег!

– У него разговор короток: давай! А не дашь, он себя покажет, каков он есть король.

Александра Михайловна была рада говорить без конца. Андрей Иванович совершенно подчинил себе ее волю, и она не смела при нем пикнуть; теперь она начинала чувствовать себя полноправным человеком. И чем больше она говорила, тем ясней ей становилось, что она права и страдает, а Андрей Иванович тираничен и несправедлив.

Елизавета Алексеевна прошла по комнате и нервно повела плечами.

– Никогда замуж не пойду!.. Словно ребенок какой, ничего не смей, на все из чужих рук смотри!

– А я рада, что ли, что пошла? Ведь они перед свадьбой всегда прикидываются: говорят, что и любят тебя, и холить будут, и пить-то ничего не пьют...

Александра Михайловна помолчала.

– Вы думаете, ему есть до нас какая-нибудь забота? Ему только товарищи и дороги; последний кусок он отнимет у своей девочки, чтоб отдать товарищу; для товарища он ни над чем не задумается... Пять лет назад его прогнали от Гебгарда, – за что? Товарищ его Петров поставил золотые обрезы просушиваться, а хозяйская кошка чихнула и испортила обрезы. Петров переделал, поставил в книжку за поправку по шесть копеек, – хозяин вычеркнул и написал: «Я не вино-

ват»... Ну, что с хозяином сделаешь? Всегда так было и будет. Поругался про себя Петров, и больше ничего. И дело-то всего в полтиннике было. А мой Андрей Иванович взбеленился: «Это, говорит, он еще слонов у нас тут разведет, – ходить будут по мастерской да чихать во все стороны?... Не виноват хозяин? Кошка виновата?...» Поймал кошку и разбил ей голову о пресс. А кошка дорогая была, ангорская, пятнадцать рублей стоила... Ну и прогнали его. Что ж хорошего вышло? Два месяца без работы пробыл, совсем обнищали...

Хозяйка заглянула в дверь.

– Михайловна, человек тебя спрашивает.

Александра Михайловна вышла. В кухне стоял человек с рыжеватыми, торчащими, как щетина, усами, в знакомом Александре Михайловне пальто. Это был Захаров. Он галантно расшаркался.

– Записка вам от вашего супруга!

Александра Михайловна прочла записку. У нее опустились руки. Часто дыша, она с негодованием оглядела Захарова.

– Зачем ему нужно два рубля?

– Не знаю-с! Просто просил меня Андрей Иванович принести, а для чего, – положительно не знаю.

– Как вам это нравится, Елизавета Алексеевна?! Пишет, чтоб я ему еще прислала два рубля! Где я их возьму? Ах ты, боже мой, боже мой! а?... Вы где с ним пьянствуете, в «Сербии»? На коньяк денег не хватило вам? Зачем ему деньги?

Захаров смущенно переминался.

– Окончательно не могу вам этого сказать. А только просил меня Андрей Иванович принести.

– Да кто вы такой?

– Я знакомый его.

– Знакомый? Какой такой знакомый?

– Значит... познакомились с ним, с супругом вашим.

– Хорош знакомый, которого жена в первый раз видит!

– Удивительно, – сконфуженно произнес Захаров.

– А вы меня видали?

– Н-нет.

– Так что же для вас удивительного?

Захаров вздохнул.

– Да на что ему деньги-то нужны, ответьте мне!

– Он мне не сказал, на что. Просто просит вас прислать ему два рубля. «Пусть, говорит, пришлет». Н-ну... Желает, чтобы вы прислали ему два рубля. Вот вам мой короткий ответ.

– Да на что, на что ему?

– Не знаю.

– Как же не знаете? Ведь вы вместе сидите, вместе пьете!

На что они ему? Пропить ли, вам ли подарить?... На что?

– Окончательно ответить вам – не знаю.

– Ну уж, пожалуйста, не врите!

Захаров беспомощно пожал плечами и снова вздохнул.

– Я к вам по его поручению пришел, как посланец, боль-

ше ничего! Ничего не знаю, ничего не понимаю. А вы, как Иоанн Грозный, – В ногу гонца острый конец жезла своего он вонзает.

– Какой Иоанн Грозный? Что вы глупости говорите?... Кто вы сами-то такой, – я вас не знаю! Ступайте вон отсюда!

Захаров заморгал глазами.

– Это вы мне намекаете, что я должен удалиться? Какой прикажете дать ответ?

– Никакого ответа не будет!

Александра Михайловна круто повернулась и ушла к Елизавете Алексеевне.

## V

Глаза Александры Михайловны блестели, она задыхалась от волнения и сознания отчаянной смелости своего поступка. Елизавета Алексеевна сидела бледная.

– Как вам это понравится! – воскликнула Александра Михайловна. – Дома гроша нет, сам не работает, а пришли ему два рубля с этим оборванцем! Это тот самый оборванец, которому он пальто свое отдал, – я сразу поняла. Мало пальта показалось, еще деньгами хочет его наградить, – богач какой! Пускай свой ребенок с голоду помирает, – оборванцы-пьянчужки ему милее!

Хозяйка, Зина и Дунька вошли в комнату. Дарья Семеновна жалостливо сказала:

– Ну, Михайловна, убьет он теперь тебя до смерти!

– Пускай убивает, мне что!

– Побегу за этим усатым, посмотрю! – Дунька быстро накинула платок и исчезла.

Александра Михайловна гордо и радостно повторила:

– Пускай убивает! Весело мне, что ли, жить? Одни только тычки да колотушки и видишь, словно ребенок малый!.. Жив был отец, – отец тиранил, замуж вышла, – муж.

Елизавета Алексеевна молчала, в волнении кусая губы. Зина, быстро дыша, оглядывала присутствующих и начинала плакать. Хозяйка вздыхала.

– Пойти прибрать в твоей комнате все тяжелое. Пьяный человек, неровен час... Пойдем, Михайловна!

Они отобрали два горшка с геранью, литографский камень, ножи и все отнесли в кухню. Испуг окружающих передался Александре Михайловне. Она все больше падала духом.

Вошла Елизавета Алексеевна и решительно сказала:

– Слушайте, Александра Михайловна, уходите с Зиной со двора! Я ему скажу, что вас нет дома.

– Нет, что уж! – апатично ответила Александра Михайловна. – Он тогда со злобы все у нас перебьет, порвет, ни одной тряпки не оставит. Все равно уж!.. А вот я вас хотела просить, Лизавета Алексеевна, – возьмите Зину к себе; а то он, чтоб мне назло сделать, начнет ее сечь, изувечит ребенка.

В квартиру, как вихрь, влетела Дунька.

– Идет Андрей Иванович! – крикнула она, задыхаясь. – Пьяный-пьяный! Шатается и под нос себе лопочет! Уж с прищепта повернул... Ой, боюсь!

Все засуетились. Зина заплакала.

– Иди, Зина, к Лизавете Алексеевне, – поспешно сказала Александра Михайловна.

– Идите вы тоже ко мне! – резко проговорила Елизавета Алексеевна. – Он ко мне постесняется войти.

Александра Михайловна испуганно твердила:

– Нет, нет! Ради бога, голубушка, идите с Зиной и не показывайтесь! Увидит вас, еще больше обозлится. Он мне и так

утром говорил, что это вы меня подучаете его не слушаться.

Елизавета Алексеевна увела Зину к себе. Перепуганная Дунька пошла вместе с ними.

– Ты-то чего, дура, боишься? – презрительно сказала Елизавета Алексеевна. – Тебя он не смеет трогать.

– Голубушка, Лизавета Алексеевна, боюсь, – повторяла Дунька, дрожа.

Властно и громко зазвенел звонок. Хозяйка отперла. Слышно было, как Андрей Иванович вошел к себе в комнату и запер за собою дверь на задвижку.

– Давай деньги! – хрипло произнес он.

В комодѣ поспешно щелкнул замок. Александра Михайловна послушно достала деньги и отдала Андрею Ивановичу.

– Еще! – отрывисто сказал он. – Все деньги давай! Четыре рубля!

Александра Михайловна робко возразила:

– Андрюша, я два рубля уже истра...

Раздался звук пощечины и вслед за ним короткий, всхлипывающий вздох Александры Михайловны. Зина сидела на постели Елизаветы Алексеевны и чутко прислушивалась; она рванулась и заплакала. Елизавета Алексеевна, бледная, с дрожащими губами, удержала ее.

За стеною слышалась молчаливая возня и сдержанное всхлипыванье. Зина, дрожа, смотрела блестящими глазами в окно и бессознательно стонала.

Вдруг Александра Михайловна крикнула:

– Андрей, пусти!!! Я сейчас... посмотрю...

За стеною стало тихо.

– Нашла! – иронически протянул Андрей Иванович.

Он стал пересчитывать деньги. Зина дрожала еще сильнее, упорно глядела в окно, охала и растирала рукою колени.

– Как ноги больно! – тоскливо сказала она.

Елизавета Алексеевна спросила:

– Отчего у тебя ноги болят?

– У меня всегда ноги болят, когда папа маму бьет, – ответила Зина с блуждающею улыбкою, дрожа и прислушиваясь.

– Ну, а теперь я покажу тебе, как меня перед людьми позорить! – сказал Андрей Иванович.

Александра Михайловна пронзительно вскрикнула.

За стеною началось что-то дикое. Глухо звучали удары, разбитая посуда звенела, падали стулья, и из шума неслись отрывистые, стонущие рыдания Александры Михайловны, похожие на безумный смех. Несколько раз она пыталась выбежать, но дверь была заперта.

– О-о, господи! – тяжело вздохнула хозяйка на кухне.

– Ай-ай-ай, Лизавета Алексеевна, боюсь! – плакала Дунька, стараясь держаться ближе к Елизавете Алексеевне.

Елизавета Алексеевна бросилась к запертой двери и стала стучать в нее кулаком. Напрягая свой слабый голос, она крикнула:

– Андрей Иванович! Отворите сейчас же, а то я побегу за дворниками!



– Что?! – грозно спросил Андрей Иванович, подходя к двери. – Убирайся к...

Раздался вопль Александры Михайловны и шум упавшего тела.

Елизавета Алексеевна бросилась вниз по лестнице к дежурному дворнику. Дворник, кутаясь в тулуп, сидел на скамейке у ворот. Он равнодушно ответил:

– Я дежурный, не могу от ворот уйти.

Елизавета Алексеевна побежала в дворницкую. У дверей стоял, щелкая подсолнухи, молодой дворник. Узнав, в чем дело, он усмехнулся под нос и моментально исчез где-то за дровами. Сегодня, по случаю праздника, в доме все были пьяны и чуть не из каждой квартиры неслись стоны и крики истязуемых женщин и детей. Наивно было соваться туда.

Елизавета Алексеевна и сама это понимала. Никого ей не дозваться. Она в отчаянии остановилась посреди двора. С крыш капало, от помойной ямы тянуло кислую воню; за осклизшей деревянной решеткой палисадника бились под ветром оголенные ветки чахлах берез.

Из подъезда выбежал Андрей Иванович, с всклокоченными волосами, в пальто внакидку; глаза его горели. Он быстро прошел к воротам, не заметив Елизаветы Алексеевны. Она поспешила вверх.

Александра Михайловна, с закинутою, мертвенно-неподвижною головою, лежала на кровати. Волосы спутанными космами тянулись по подушке, левый глаз и висок вздулись

громадным кровавым волдырем, сквозь разодранное платье виднелось тело. Вокруг суетились хозяйка и Дунька. Зина сидела на сундуке, дрожала, глядела блестящими глазами в окно и по-прежнему слабо стонала, растирая рукою колени.

Александрю Михайловну привели в чувство. Хозяйка поставила самовар, Елизавета Алексеевна сбегала в погребок и принесла бутылку рома. Александра Михайловна напилась горячего чаю с ромом и осталась лежать.

Она была вяла и апатична. Тупо оглядывая окружающих, она рассказывала, как бил ее Андрей Иванович, как он впился ей ногтями в нос и рвал его, а другой рукою закручивал волосы, чтоб заставить ее отдать все деньги... Хозяйка вздыхала и жалостливо качала головою. Елизавета Алексеевна, сдвинув брови, мрачно смотрела в угол. Дунька слушала жадно, с блестящими от любопытства глазами, словно ей рассказывали интересную и страшную сказку.

Просидели все вместе с час. Александрю Михайловну стало познабливать, она решила лечь спать. Елизавета Алексеевна ушла из дому.

Александра Михайловна разделась, уложила Зину, потушила лампу, но заснуть не могла. Правое бедро, в которое Андрей Иванович ударил ее каблуком, ныло, распухший нос горел. Она лежала на спине, глядела в темноту и думала о своей жизни. Ей вспоминался мрачный, горевший ненавистью взгляд Елизаветы Алексеевны, с каким она слушала рассказ, – и в ней самой разгоралась ненависть. До сих пор

Александра Михайловна несла тяжесть своей семейной жизни, как неизлечимую болезнь, от которой можно только страдать. Теперь она думала о том, что эти страдания глупо терпеть и что нужно вырваться из них; она думала и о том, что ее жизнь скучна и сера, а Елизавета Алексеевна живет в какой-то другой жизни, яркой и светлой.

На потолке около шкапа тускло светилось пятно от горевшего на дворе фонаря; порывистый ветер хлестал дождем в окно; телефонные проволоки на крыше гудели однообразно и заунывно, словно отдаленный благовест. В воздухе один за другим глухо прозвучали три пушечных выстрела: начиналось наводнение... Зина, спавшая на сундуке, слабо стонала сквозь сон.

В кухне раздался резкий, громкий звонок. Александра Михайловна быстро села на постели и с бьющимся сердцем стала вслушиваться. Ее взяло отчаяние: опять Андрей Иванович, опять истязания...

Но в кухне послышался женский голос. Дверь открылась, и голос окликнул Александру Михайловну:

– Вы спите? Можно к вам?

Александра Михайловна узнала Катерину Андреевну, коробочницу, сожительницу Ляхова.

– Васька-то мой!.. Ах, негодяй, негодяй! – заговорила Катерина Андреевна, задыхаясь.

– В чем дело, Катерина Андреевна? Что случилось?

Александра Михайловна встала и зажгла лампу. Катерина

Андреевна быстро ходила по комнате и повторяла:

– Негодяй, негодяй, мерзавец подлый!

Катерина Андреевна была стройная девушка, с красивым, нервным лицом и большими темно-синими глазами. На ней была изящная черная кофточка и шляпка с перьями...

– Опять что-нибудь накуролесил Ляхов? – спросила Александра Михайловна.

Катерина Андреевна с негодующей дрожью повела плечами.

– Такую подобную тварь, а?... Я давно знала, что он хороводится с различными девками, а тут уж... К нам на квартиру привел, ко мне! А?! Ах, прохвостина этакий, обормот!!.

– К вам привел на квартиру? – с любопытством спросила Александра Михайловна.

– Самую последнюю тварь! Понимаете, – раскрашенную, которую можно топтать ногами. У-у-у!.. Уж и отхлестала же я им обоим их поганые морды!

Александра Михайловна в полусвете лампы заметила, что и у самой Катерины Андреевны губы в крови и правый глаз распух.

– Ах, негодяй, негодяй грязный!.. Дозволить себе такую подобную мерзость, а?

– И из квартиры выгнал вас?

– Сам еще придет ко мне, просить будет воротиться, да посмотрим, кто над кем покуражится! Два уже раза я ему прощала, – в ногах валялся, ноги мне целовал... Ну, теперь

посмотрим!

Александра Михайловна помолчала и заговорила:

– Вам-то хоть хорошо. Вы с ним не связаны, захотели и ушли, он вам ничего не может сделать. Работу вы имеете и без него можете прожить, – вам его содержание не нужно.

Катерина Андреевна рассмеялась.

– Его содержание!.. Я его содержала, на свои деньги! Свои он все пропивал, до последней копеечки. Посмотрим теперь, как он без меня проживет.

– А вот как у меня-то, – вяло продолжала Александра Михайловна, – живи, как крепостная, на все из чужих рук смотри. Муж мой сам денег мало зарабатывает; что заработает, сейчас пропьет. Я его уж как просила, чтобы он мне позволил работать, – нет! Хочет, чтоб я его хлеб ела.

Катерина Андреевна остановилась перед столом, глядела блестящими глазами на огонь лампы и злорадно улыбалась.

– Пускай только придет теперь, он у меня узнает, можно ли меня оскорблять! – сказала она. – Ах, подлец, подлец!

– Они сегодня с мужем вместе пьянствовали в «Сербии». Не хватало им денег на коньяк, – пришел муж, меня избил до полусмерти и все, все деньги отобрал, ни гроша в доме не оставил. А вы ведь знаете, какой он теперь больной, много ли и всего-то заработает!.. Чем же жить? Сколько раз я ему говорила, просила, – пусть позволит хоть что-нибудь делать, хоть где-нибудь работать, все-таки же лучше, нет!

– Поступайте к нам в мастерскую. У нас много можно вы-

работать – полтора рубля в день. Научиться скоро можно.

– Так не позволяет мне муж, я что же вам говорю?

– Ах, мерзавец этакий, а?! – Катерина Андреевна передернула плечами и снова заходила по комнате. – Мне сегодня и ночевать негде, я к вам пришла, – можно у вас остаться?

– С удовольствием, милости просим! Только воротится муж, опять меня бить начнет. Вам будет беспокойно.

– Ничего, я как-нибудь... – рассеянно ответила Катерина Андреевна. – А они-то теперь там... На моей кровати!.. О негодяй, обормот подлый, пускай только покажется мне на глаза!

В двенадцать часов воротилась Елизавета Алексеевна. Катерина Андреевна поместилась у нее.

Александра Михайловна снова улеглась спать, но заснуть не могла. Она ворочалась с боку на бок, слышала, как пробило час, два, три, четыре. Везде была тишина, только маятник в кухне мерно тикал, и по-прежнему протяжно и уныло гудели на крыше телефонные проволоки. Дождь стучал в окна. Андрея Ивановича все не было. На душе у Александры Михайловны было тоскливо.

## VI

Андрей Иванович воротился домой в десятом часу утра – воротился хмурый, смирный и задумчивый. Молча напился кофе и сейчас же лег спать.

Александра Михайловна сварила молочную рисовую кашу, накормила Зину, Катерину Андреевну и поела сама. К обеду же приготовила только жиденский суп с крошечным куском жилистого мяса.

К двум часам Андрей Иванович проспался и встал веселый, ласковый. Александра Михайловна стала накрывать на стол. Она повязала свой синяк платком, усиленно хромала на ушибленную ногу и держалась, как деревянная. Андрей Иванович ничего словно не замечал и весело болтал с Катериной Андреевной.

Катерина Андреевна вышла в кухню напиться. Андрей Иванович поморщился и сказал:

– Что ты, Саша, фальшивишь? Не так уж нога у тебя ушиблена, я сразу понимаю. Ну, пойди сюда, дурочка! Дай я тебя поцелую.

– Где уж тут фальшивить! Поневоле захромаешь, как начнут тебя ногами топтать, словно рогожу. – Она ответила угрюмо, но лицо ее невольно для нее самой вдруг прояснилось от ласки Андрея Ивановича.

– Ну, пойди, пойди сюда! – Андрей Иванович охватил ее

за талию и ущипнул в бок. – А ты знай вперед, что настойчивой быть нельзя. Раз что муж тебе что-нибудь приказывает, то ты должна исполнять, а не рассуждать. Ты всегда обязана помнить, что муж выше тебя.

– А вот ты деньги все опять прокутил, – на что жить будем? Обед даже не на что сварить, сегодня еле-еле кусочек мяса выклянчила в мясной. Ведь не о себе я стараюсь, мне что!

– Ничего, Шурочка, деньги пустяки! Сегодня нет, завтра будут. Наживем!.. Эка, стоит о деньгах печалиться!

После обеда пришел в гости слесарь электрического завода Иван Карлович Лестман; это был эстонец громадного роста и широкоплечий, с скуластым лицом и белесою бородкою, очень застенчивый и молчаливый. Он благоговел перед Андреем Ивановичем.

Стали вечером играть в стукалку, потом сели пить чай. У Александры Михайловны было на душе очень хорошо: Андрей Иванович был с нею нежен и предупредительно-ласков, и она теперь чувствовала себя с ним равноправною и свободною. Андрей Иванович, опохмелившийся остатками вчерашнего коньяку, тоже был в духе. Он сказал:

– Шурочка, ты бы пошла позвала к нам Елизавету Алексевну. Что ей там одной сидеть? Пускай чайку попьет с нами.

Странное было его отношение к Елизавете Алексеевне: Андрей Иванович видел ясно, что Александра Михайловна бунтует против него под ее влиянием, и часто испытывал к



Елизавете Алексеевне неистовую злобу. Тем не менее его так и тянуло к ее обществу, и он бывал очень доволен, когда она заходила к ним.

У Елизаветы Алексеевны была мигрень. Осунувшаяся, с злым и страдающим лицом, она лежала на кровати, сжав руками виски. Лицо ее стало еще бледнее, лоб был холодный и сухой. Александра Михайловна тихонько закрыла дверь; она с первого взгляда научилась узнавать об этих страшных болях, доводивших Елизавету Алексеевну почти до помешательства.

– Опять голова болит! – объявила Александра Михайловна. – Раза по три в неделю у нее голова болит, что же это такое!

– Эх, бедняга! – с соболезнованием сказал Андрей Иванович.

Лестман покачал головою.

– Все от ученья. Такой больной не есть хорошо много учиться, раньше нужно доставать здоровья.

– «Здоровье доставать»... Как вы будете здоровье доставать? – возразил Андрей Иванович. – Тогда нужно отказаться от знания, от развития; только на фабрике двенадцать часов поработать, – и то уж здоровья не достанешь... Нет, я о таких девушках очень высоко понимаю. В чем душа держится, кажется, щелчком убьешь, – а какая сила различных стремлений, какой дух!

– Ну, а что ж хорошего вот этак все больной валяться? –

сказала Катерина Андреевна. – И к чему учиться-то? Не понимаю! Ничего ей за это дороже не станут платить.

Андрей Иванович поучающе возразил:

– Дело не в деньгах, а в равноправенстве. Женщина должна быть равна мужчине, свободна. Она такой же человек, как и мужчина. А для этого она должна быть умна, иначе мужчина никогда не захочет смотреть на нее, как на товарища. Вот у нас девушки работают в мастерской, – разве я могу признать в них товарищей, раз что у них нет ни гордости, ни ума, ни стыда? Как они могут постоять за свои права? А Елизавету Алексеевну я всегда буду уважать, все равно, что моего товарища.

В кухне раздался звонок. В комнату вошел Ляхов с котелком на затылке и с тросточкой. Он был сильно пьян. Катерина Андреевна побледнела.

– У вас Катька? – спросил он, не здороваясь. – Ты здесь? Иди домой, где ты пропадаешь?! – крикнул он на нее.

Катерина Андреевна стояла, нервно сжимая рукою край стола, и в упор смотрела на Ляхова.

– Пошла я с тобой, как же! – ответила она, задыхаясь. – Ах ты, негодяй, негодяй! Еще домой зовет после подобной мерзости!

– Я тебе приказываю, понимаешь ты это?!

– Я тебе, слава богу, не жена! Ты мне не можешь приказывать! Кто ты такой? Я тебя не знаю!.. Ах ты, негодяй грязный!

– Пойдешь ты или нет? – Ляхов грубо схватил ее за руку около плеча.

– Отстань!

Андрей Иванович угрожающе крикнул:

– Что это, Васька, за безобразие? Оставь ее!

Ляхов опустил руку и с усмешкой оглядел Андрея Ивановича.

– Аль тебе ее захотелось?

– Дело не об этом, а о том, что не смей скандала делать.

– Она, брат, ко всякому пойдет, к кому угодно!.. Что уж очень хочется тебе? Ну, ладно, бери, черт с нею! Эка добра какого... На!..

Он засмеялся и с силою толкнул Катерину Андреевну на Андрея Ивановича.

– Да что же это такое! Андрей Иванович, пошлите за дворниками! – воскликнула Катерина Андреевна.

Андрей Иванович стиснул зубы и вскочил с места.

– Ты тут перестанешь скандалить или нет?

– Так не хочешь домой идти? – обратился Ляхов к Катерине Андреевне.

– Не хочу! И никогда не приду!

Ляхов усмехнулся.

– Ну, ладно! погоди же ты, я тебя еще не так осрамлю... Чтоб ноги твоей у меня больше не было! – крикнул он и свирепо выкатил глаза. – Что за юбки такие у меня в квартире повешены? Чтоб этой вонючей гадости у меня в квартире

не было... Я этого не позволю! – И, ни с кем не простившись, он вышел из комнаты.

Андрей Иванович с отвращением смотрел ему вслед.

– Свинья пьяная!.. Вы не подчиняйтесь ему, что за безобразие! Слава богу, вы с ним не связаны.

– Ему? Подчиниться? Н-никогда!.. Сам придет ко мне, в ногах будет валяться, – да посмотрим, захочу ли я его простить!

Лестман с сожалением глядел на Катерину Андреевну.

– Лучше ваши вещи берите от него прочь, а то он всем им делает капут.

Катерина Андреевна всплеснула руками.

– И вправду! Как же я их добуду? Александра Михайловна, дорогая моя, съездите, возьмите у него мои вещи!

– Я боюсь: он меня еще побьет, – нерешительно сказала Александра Михайловна.

Андрей Иванович вспыхнул.

– Тебя побьет? Будь покойна! Пусть только пальцем посмеет тронуть!

Решили, что Александра Михайловна поедет за вещами вместе с Лестманом. Через полчаса они привезли их, – но, боже мой, в каком виде! Платье и белье были изрезаны на мелкие кусочки, от посуды остались одни черепки, у самовара был свернут кран и вдавлен бок.

Катерина Андреевна вспыхнула, закусила губы и разрыдалась.

## VII

Прошло две недели. Была суббота. Андрей Иванович воротился после шабаша прямо домой и принес Александре Михайловне весь заработок. Уж вторую неделю он приносил домой деньги целиком до последней копейки.

Поужинали и напились чаю. Андрей Иванович сидел у стола и угрюмо смотрел на огонь лампы. Всегда, когда он переставал пить, его в свободное от работы время охватывала тупая, гнетущая тоска. Что-то вздымалось в душе, куда-то тянуло, но он не знал, куда, и жизнь казалась глупой и скучной. Александра Михайловна и Зина боялись такого настроения Андрея Ивановича: в эти минуты он сатанел и от него не было житья.

Андрей Иванович послал жену купить «Петербургский листок», прочел его от передних до задних объявлений. Потом стал просматривать взятый им из мастерской сборник куплетов «Серебряная струна»... Нет, все было скучно и плоско...

Пришла Катерина Андреевна.

Она жила теперь на отдельной квартире, но Ляхов не оставлял ее в покое. Он поджидал ее при выходе из мастерской, подстерегал на улице и требовал, чтоб она снова шла жить к нему. Однажды он даже ворвался пьяным в ее квартиру и избил бы Катерину Андреевну насмерть, если бы квар-

тирный хозяин не позвал дворника и не отправил Ляхова в участок. Катерина Андреевна со страхом покидала свою квартиру и в мастерскую ходила каждый раз по разным улицам.

– Ведь этакий острожник, а?! – негодовала она. – Вот связалась на свою погибель! Это ведь такой бешеный, ему и резать нипочем человека.

Андрей Иванович мрачно слушал, терзаемый тоской и скукою.

Раздался звонок. Мужской голос спросил Елизавету Алексеевну. Ее не было дома. Гость сказал, что подождет, и прошел в ее каморку. Андрей Иванович оживился: ему вообще нравились знакомые Елизаветы Алексеевны, а этот, к тому же, по голосу был как будто уже знакомый Андрею Ивановичу. Он прислушался: гость сидел у стола и, видимо, читал книгу. Андрею Ивановичу не сиделось.

– Что ему там одному сидеть? – обратился он к Александре Михайловне. – Подогрей-ка самовар, да сходи, возьми полбутылки рому. Пускай чайку попьет у нас.

Андрей Иванович пошел в комнату Елизаветы Алексеевны. Гость, правда, был знакомый. Это был Барсуков, токарь по металлу из большого пригородного завода; Андрей Иванович около полугода назад несколько раз встречался с Барсуковым у Елизаветы Алексеевны и подолгу беседовал с ним.

– Это вы, Дмитрий Семенович! – воскликнул Андрей

Иванович. – То-то я слушаю, – что это, как будто голос знакомый?... Здравствуйте! Что же вы тут одни сидите? Заходите к нам, выпейте стаканчик чаю!

– Да я уж собственно пил, – ответил Барсуков и с усмешкою прервал себя: – А впрочем... хорошо! Что ж так сидеть?

Он пошел с Андреем Ивановичем в его комнату. Андрей Иванович суетливо оправил на столе скатерть.

– Что это, как вас долго не было видно? Садитесь... Сейчас жена ромцу принесет, мы с вами выпьем по рюмочке.

Барсуков подошел к Катерине Андреевне, назвал себя и тряхнул ее руку, потом присел к столу.

– Да вы, голубчик, оставьте, не суетитесь. Я пить все равно не буду.

Он увидел лежавшую на столе «Серебряную струну», перелистал ее и, отложив в сторону, взял с комода еще пару книг.

Андрей Иванович законфузился.

– Э, не смотрите: ерунда! Я их так себе, от скуки, из мастерской взял. Глупые идеи, нечего читать: одна только критика, для смеху... Ну, а вот оно и подкрепление нам!

Александра Михайловна принесла ром.

Андрей Иванович откупорил бутылку, отер горлышко краем скатерти и налил две рюмки.

– Пожалуйте-ка, Дмитрий Семенович!.. За ваше здоровье!

– Нет, спасибо, я не пью!

– Ну, ну, пустяки какие! По маленькой ничего не значит.

– Каждый раз у нас с вами та же канитель повторяется. И по маленькой не пью, спасибо!

– Ну, во-от!.. – разочарованно протянул Андрей Иванович. – Что же мне, не одному же пить! Маленькая не вредит, – что вы? Выпьем по одной! Ром хороший, рублевый, – он проясняет голову.

Барсуков с усмешкою пожал плечами, поднялся и неловко зашагал по комнате.

– Что же это такое? Одному и пить как-то неохота... Катерина Андреевна, выпьемте с вами!

Она засмеялась и кокетливо покосилась на Барсукова.

– Вот еще! Что это вы, Андрей Иванович, так меня конфузите!

– Так ведь я же вам не голый ром, я вам в чай подолью.

– Нет, нет, уж пожалуйста!

– Да вы погодите, я вам сделаю жженку. Весь спирт сгорит, один только букет останется.

Он поместил ложечку над чашкою Катерины Андреевны, положил в ложечку сахар, обильно полил его ромом и зажег... Синее пламя, шипя, запрыгало по сахару.

– Ну вот, попробуйте теперь! – самодовольно сказал Андрей Иванович. – Самый дамский напиток... Будьте здоровы!

Он коснулся рюмкою края чашки, выпил рюмку и крикнул.



– Нет, Дмитрий Семенович, позвольте вам сказать откровенно: я на этот счет с вашими мнениями не согласен. Какой вред от того, чтоб выпить иногда? Мы не мальчики, нам невозможно обойтись без этого.

Барсуков стоял у печки, заложив руки за спину.

– Почему? – сдержанно спросил он.

– Почему? Потому что жизнь такая! – Андрей Иванович вздохнул, положил голову на руки, и лицо его омрачилось. – Как вы скажете, отчего люди пьют? От разврата? Это могут думать только в аристократии, в высших классах. Люди пьют от горя, от дум... Работает человек всю неделю, потом начнет думать; хочется всякий вопрос разобрать по основным мотивам, что? как? для чего?... Куда от этих дум деться? А выпьешь рюмочку-другую, и легче станет на душе.

– Для чего же это бежать от дум-то? Не мешало бы, напротив, осмыслить всякие явления, понять их: почему это должно быть привилегией интеллигенции? Вином думы заливать, – далеко не уйдешь.

– Я не спорю против этого! – поспешно сказал Андрей Иванович. – Я сам всегда это самое говорю, – что нужно стремиться к свету, к знанию, к этому... как сказать? – к прояснению своего разума. А что только выпить не мешает, – изредка, конечно: от тоски! Когда уж очень на душе рвет! То-олько!.. А как серый народ у нас, особенно фабричные по трактам, – их я сам строго осуждаю: напьются так, что вместе лиц одни свиные рыла видят везде, – знаете, как извест-

ные гоголевские типы, ревизоры... К чему это? Это – безобразие, стыд! Настоящая Азия! Я очень даже негодную за это на русского человека.

Барсуков помолчал.

– В нынешнее время и по трактам – который народ идет в кабак, а который в школу, – возразил он. – Азии-то этой, может быть, все меньше становится с каждым годом.

Андрей Иванович безнадежно махнул рукою.

– Ну, где там! Довольно этой Азии у нас, на тысячу лет хватит! Вы меня извините за выражение, только я о русском человеке очень худо понимаю: он груб, дик! Дай ему только бутылку водки, больше ему ничего не нужно. О другом у него дум нет.

Барсуков удивленно поднял брови.

– Как это так – нет? Мало вы, я вижу, знаете. Пригляделись бы, осмотрелись бы кругом, – может быть, и увидели бы. Везде жизнь начинается, везде начинают шевелиться; каждый хочет жить своим умом, хочет понимать, особенно из молодых. Стоячая вода всем надоела. Что действительно – старики это считают излишним, а молодые уже совершенно других убеждений.

Андрей Иванович скептически повел головой.

– Нет, не согласен! Конечно, я не говорю: механики, наборщики, ну, там, конторщики, наш брат – переплетчик, – об этих я не говорю. Это – люди, можно даже сказать, замечательные, образованные, со знаниями. Или вот, скажем,

вы или Елизавета Алексеевна. А я говорю о сером народе, о фабричных, о мужиках. Это ужасно дикий народ! Тупой народ, пьяный!

Барсуков слушал, крутил бородку и посмеивался.

– Да вы, может, не там смотрите? – насмешливо спросил он. – Конечно, если по трактирам искать, то трудно найти, или по кабакам... А вы бы в другом каком месте поискали, – в школу бы, скажем, сходили, на курсы. Может быть, увидели бы поучительное... «Дикие», «тупые»! – резко произнес он и перестал смеяться. – Проработает парень двенадцать часов на заводе, выйдет, как собака, усталый, башка трещит, а бежит на курсы, другой раз и перекусить не успеет. Это от дикости, что ли? К ночи только домой воротится, а утром рано вставай, опять на работу. От дикости это? От дикости он на последний грош газетку выписывает?

Барсуков своею неловкою походкою зашагал по комнате.

– То-то, должно быть, против дикости и старики у нас бунтуются, – с усмешкой продолжал он. – Очень недовольны, что их «просвещенных» понятий больше не уважают! Начнет этакий старик поучения читать: вот, дескать, была у нас в Торжке девушка, и вселились в нее черти; отвезли ее к какой-то там святой бабушке, продержали год, – как рукой сняло; вышла на волю, поела скоромного пирожка, и опять в нее черти вселились... А молодой смеется, спрашивает: пирожок-то, значит, чертями был начинен?... Старик скажет: гром оттого, что Илья-пророк по небу катается, а молодой

ему: какой такой Илья-пророк? Это – электричество!.. Какая дикость! «Электричество»! а? На курсы вздумал бегать, электричество изучать, кислороды всякие! Уж подлинно – Азия!

– У вас какие же на этих курсах лекции преподают? – спросил заинтересованный Андрей Иванович.

– Разное преподают, – неохотно ответил Барсуков. – Химию, физику, русский язык... алгебру, геометрию...

Он сел к столу и лениво стал прихлебывать чай.

– Полезные предметы, – сказал Андрей Иванович тоном знатока.

– Предметы необходимые... Знаете, сходимте как-нибудь вместе на курсы! – предложил Барсуков и оживился. – Стоит наблюдения. Я курсы кончил, а другой раз нарочно хожу. Вы мало знаете, потому и говорите. Какие живые ребята есть, сознательные! Так и рвутся до знания, все хотят знать в корень. Такого куда ни брось – не заржавеет... И откуда силы берет! Днем на работе, вечером на курсах, придет домой – отдыха не знает, сейчас за книгу, другой раз всю ночь просидит... Это, батенька, не то, что у интеллигенции: ходит себе мальчонка – в гимназию там, в университет; заботы ни о чем нет у него, все папаша предоставляет. «Ванечка, миленький, только учись, пожалуйста!» Протащат этак по всем наукам, а там уж и местечко готово: пожалуйста, получайте жалованье!..

– Черт возьми! Ей-богу, надобно бы сходить посмот-

реть! – воодушевился Андрей Иванович.

– Много поучительного... Старики уж так косятся! – улыбнулся Барсуков. – «Ученые, – говорят, – курсанты! В студенты, что ли, записались? Ничего этого не нужно; грамоту да письмо знаешь – и довольно». Объяснять им, на что человеку знание нужно? Этого они не поймут, – ну, а между прочим, сами замечают, что в нынешнее время везде на заводах больше ценят молодого рабочего, чем который двадцать лет работает, – особенно в нашем машиностроительном деле; старик, тот только «по навыку» может: на двухтысячную дюйма больше или меньше понадобилось, он уж и стоп! А для молодого это пустяки.

Барсуков оживился. Он рассказывал много и долго. Андрей Иванович слушал, и разные чувства поднимались в нем; он и гордился, и радовался; и грустно ему было: где-то в стороне от него шла особая, неведомая жизнь, серьезная и труженическая, она не бежала от сомнений и вопросов, не топила их в пьяном угаре; она сама шла им навстречу и упорно добивалась разрешения. И чем больше Андрей Иванович слушал Барсукова, тем шире раздвигались перед ним просветы, тем больше верилось в жизнь и в будущее, – верилось, что жизнь бодра и сильна, а будущее велико и светло.

– Нет, в нынешнее время о многом начинают думать, – сказал Барсуков. – Никто не хочет на чужой веревочке ходить. Хотят понять условия своей жизни, ее смысл.

Он прошелся по комнате, задумчиво остановился у печки.

– В летошнем году у нас на курсах один, Сергей Александрович, читал русскую литературу. Между прочим, решал вопрос: какая разница между научной литературой и художественной? Научная литература – если, например, исследовать жилище рабочего: сколько кубического воздуха, какой процент детей умирает, сколько рабочий в год выпивает водки... А художественная литература то же самое изображает чувствительно: умирает рабочий, – дети голодные, жена плачет, грязь кругом, сырость, есть нечего. И он думает: для чего он всю жизнь трудился, выбивался из сил, для чего он жил? – Барсуков сурово сдвинул брови. – Он жил, а жизни не видел, видел только ее призрак сквозь копоть фабричного дыма... Какая же была цель его существования?

Андрей Иванович порывисто встал и быстро зашагал по комнате.

– Нет, ей-богу, на курсы ваши поступлю! Дай только немножко поправлюсь, сейчас же запишусь!

Два года назад Андрей Иванович однажды уже сделал опыт – записался в школу; но, походив два воскресенья, охладел к ней; не все там было «чувствительно», – приходилось много и тяжело работать, а к этому у Андрея Ивановича сердце не лежало; притом его коробило, что он сидит за партой, словно мальчишка-школьник, что кругом него – «серый народ»; к серому же народу Андрей Иванович, как все мастеровые аристократических цехов, относился очень свысока. Но теперь Андрею Ивановичу все это казалось очень

привлекательным.

– Совершенно все это в моем духе!.. Ей-богу, вот думаешь-думаешь так о жизни... Какой смысл?... Зачем?...

Андрей Иванович подвыпил, ему хотелось теперь не слушать, а говорить самому. Выпивая рюмку за рюмкой, он стал говорить о свете знания, о святости труда, о широком и дружном товариществе.

Катерина Андреевна тоже выпила уж три чашки крепкой жженки. Глаза ее блестели, на щеках выступил румянец. Она подсела ближе к Барсукову, брала его за локоть, горячим взглядом смотрела в глаза и спрашивала:

– А вы читали «Макарку-душегуба»? Правда, интересная книга?

Пробило десять часов. Елизавета Алексеевна не возвращалась. Барсуков встал уходить. Подвыпивший Андрей Иванович целовал его и жал руки.

– Вы заходите, Дмитрий Семенович! Я так вам рад!.. Голубчик! Знаете, есть в груди вопросы, как говорится... (Андрей Иванович повел пальцами перед жилетом), – как говорится, – насущные... Накипело в ней от жизни, хочется с кем-нибудь разделить свои мнения... Да! Вот еще! Я вас кстати хочу попросить: нет ли у вас сейчас чего хорошенького почитать? Недосуг было это время раздобыться.

– Да вот, не хотите ли, я Елизавете Алексеевне Гросса принес, «Экономическую систему Карла Маркса»? Полезная брошюра. Тогда ей отдадите.

Барсуков ушел. Катерине Андреевне тоже пора было домой, но она боялась идти одна, чтоб не встретиться с Ляховым. Александра Михайловна взялась ее проводить, и они ушли.

Андрей Иванович быстро расхаживал по комнате. Он чувствовал такой прилив энергии и бодрости, какого давно не испытывал. Ему хотелось заниматься, думать, хотелось широких, больших знаний. Он сел к столу и начал читать брошюру. В голове кружилось, буквы прыгали перед глазами, но он усердно читал страницу за страницей.

Александра Михайловна проводила Катерину Андреевну до ворот ее дома и стала прощаться.

– Ну, куда вы, Александра Михайловна? Зайдите ко мне хоть на четверть часика! Посмотрите, как я живу. Ведь вы еще не были у меня.

Они прошли через двор к деревянному флигелю и стали подниматься по крутым ступеням лестницы. Было темно, и пахло кошками. На площадке они столкнулись с квартирной хозяйкою Катерины Андреевны.

– Это вы, Катерина Андреевна? Идите скорей, вас уж час целый жених ждет. Самовар я наставила.

И хозяйка пошла вниз. Александра Михайловна остановилась и испуганно спросила:

– Ляхов?

– Н-нет, – в замешательстве ответила Катерина Андреевна. – Писец один, из больничной конторы. Елизаров.



– Писец?

– Да... Он сказал, что поживет со мною так три месяца, и если я буду вести себя прилично, то женится на мне.

– Немножко скоро у вас дело делается! – Александра Михайловна кусала губы, чтоб не расхохотаться.

Катерина Андреевна мечтательно смотрела своими большими глазами в тусклое окно лестницы.

– Ляхов так жил со мною, а этот жениться обещает. Тогда не нужно будет на работу ходить, можно будет детей иметь, свое хозяйство вести... Пойдемте, я вас познакомлю. Он хороший!

Они вошли в квартиру. У стола сидел человек с черными усиками, двойным подбородком и черными, похожими на пуговицы глазами. Держался он странно прямо, как будто вместо спинного хребта у него была палка. На столе стояла бутылка портвейну, виноград и кондитерские пирожные, на постели лежала гитара.

Катерина Андреевна быстро подошла и весело заговорила:

– Это ты, Ваня!.. Здравствуй! Вот если бы я знала, кто у меня сидит! Александра Михайловна, это мой жених. А это моя хорошая подруга, Александра Михайловна Колосова.

Елизаров галантно и солидно расшаркался, пожал Александре Михайловне руку.

– Садитесь! – продолжала Катерина Андреевна. – Как раз и самовар поспел... Умный мальчик, что без меня чаю не

пил!

Она бросила на Елизарова смеющийся, ласкающий взгляд. Елизаров покручивал большим пальцем и мизинцем острый кончик правого уса.

– Я один без дам никогда на это не решусь! – Он обратился к Александре Михайловне. – Погода сегодня дурная-с.

– Да, холодно на дворе.

– Да, холодно-с! Дождь – не дождь, снег – не снег идет. Как говорится, – неприятная погода. Не угодно ли винограду? Будьте любезны! Катюша, а ты что же?

Александра Михайловна просидела с полчаса. Катерина Андреевна болтала и смеялась, не спуская с Елизарова блестящих, манящих к себе глаз. Елизаров солидно посмеивался, крутил свои усики и говорил любезности.

Александра Михайловна ушла в одиннадцать часов. Елизаров остался у Катерины Андреевны.

## VIII

На первой неделе великого поста, в четверг, были именины Андрея Ивановича. Он собрался праздновать их, как всегда, очень широко. Александра Михайловна плакала и убеждала его быть на этот раз поэкономнее; Андрей Иванович начал доказывать, что и без того покупается лишь самое необходимое, но потерял терпение, обругал Александру Михайловну и велел ей, не рассуждая, идти и купить, что нужно.

К восьми часам вечера стали собираться гости. Пришли четыре товарища Андрея Ивановича по мастерской, Лестман, Арсентьев, один приказчик, несколько замужних женщин и модисток. Пришла и Катерина Андреевна.

– Я слышал, вы помирились с Ляховым? – спросил ее Андрей Иванович. – Мне вчера Ляхов говорил в мастерской.

– Где помирились, господи! Не знаю, куда спрятаться от него!.. Вчера подстерег меня у Мытнинского моста, не даст пройти; скажи, говорит, что простишь меня!.. Что ж мне было делать?... Когда на меня кричат, я могу противиться, а когда просят, – как ответить? Обещался вечером прийти ко мне прощения просить. Я на весь вечер ушла к подруге и ночевать осталась у нее... Уж и подумать боюсь, что будет, когда опять встречу его. Право, он меня убьет!

Праздник был в разгаре. Сменили уж третий самовар. На столе то и дело появлялись новые бутылки пива. Товарища

Андрея Ивановича, переплетного подмастерья Генрихсена, хорошего гитариста, упросили сходить домой и принести гитару. Стали танцевать кадрили.

Танцевальной залой служила кухня. Тучный Генрихсен сидел, отдуваясь, на постели хозяйки, прихлебывал пиво и играл кадрили на мотивы из «Прекрасной Елены». Андрей Иванович дирижировал. В свое время он был большим сердцем и франтом и чувствовал себя теперь в ударе.

Грациозно размахивая руками, он семенящим шагом подвигался вперед рядом со своею дамою.

– Сильвупле! – командовал он. – Оренбур!.. – При этом все делали шэн и вертелись с дамами раз по десяти. – Комансэ! – выкрикивал Андрей Иванович.

Каждый танцевал, не руководствуясь командою Андрея Ивановича; да он и сам ее не понимал. Но всем было приятно танцевать под французские выкрики. Стоял женский смех, ноги сухо шаркали по полу.

После кадрили стали танцевать польку. Катерина Андреевна была царицею бала. Стройная и изящная, с глазами, блестящими от оживления и портвейна, она была обворожительна; ее приглашали наперерыв. Андрей Иванович по причине одышки не танцевал польки. Он любезничал с дамами, угощал их портвейном, а когда их уводили танцевать, он, скрывая улыбку, следил за Елизаветой Алексеевной. Елизавета Алексеевна все время танцевала, и Андрею Ивановичу было смешно смотреть, как в толпе прыгало и мелькало ее

бледное лицо, по-всегдашнему серьезное и строгое, с сдвинутыми бровями.

Полька кончилась. Потные танцоры, обмахиваясь платками, пили и закусывали в комнате Колосовых. Вдруг в дверях появился Ляхов.

Все смутились. Большинство знало об его истории с Катериной Андреевной. Ляхов вошел бледный и печальный, приблизился к Андрею Ивановичу и поздравил его с ангелом. Потом, словно не замечая Катерины Андреевны, молча сел в угол.

Катерина Андреевна была бледна и дрожала. Она повела плечами и обратилась к Александре Михайловне:

– Как у вас от окна дует! Дайте мне, пожалуйста, платок: такой холод!

Понемногу смущение улеглось.

Снова раздался говор, смех, шутки. Пили, чокаясь стаканами. Приказчик из мануфактурного магазина Семькин, молодой человек с ярко-красным галстуком, тщетно умолял выпить хоть рюмку пива двух сестер, модисток Вереевых. Они смеялись и отказывались. Семькин выпивал стакан пива и возобновлял свои мольбы. Ляхов сидел, забившись в угол за комодом, и молча пил стакан за стаканом.

Александра Михайловна попросила сестер Вереевых спеть что-нибудь. Они покраснелись и замахали руками.

– Ах, что вы, что вы, Александра Михайловна! Ни за что! Их стали упрашивать. Сестры долго отнекивались, нако-

нец согласились. Сели рядом и откашлялись.

– А горлышко-то прочистить? – сказал Семькин, подсел к ним и подал рюмку с пивом.

Сестры засмеялись, потом сделали серьезные лица, переглянулись и запели цыганскую песню. Голоса у них были слабые, но звучали приятно; пели они в один голос:

Вьются песенки цыган,  
Прикрывая свой обман,  
За стаканом пьют стакан,  
В голове – туман...

– Туман! – басом сказал Семькин.

Младшая Вереева возразила:

– Конечно, туман! Когда пьют, тогда в голове становится туман.

– Разве это не правда? – спросила старшая.

– Вполне справедливо... Ну-ка, туманцу рюмочку! – И Семькин протянул рюмочку с пивом. Сестры прыснули.

В комнате было жарко и душно. Александра Михайловна открыла форточку. Кисейная занавеска заколебалась, в комнату подуло сырým, туманным холодом.

После веселого романса сестры спели несколько грустных песен. Головы кружились от выпитого пива, и на душе у всех стало тихо, нежно.

Помнишь ли, милая, ветви тенистые,

Ивы над темным прудом?  
Волны плескались кругом серебристые,  
Там мы сидели вдвоем.

Там поклялись мы при лунном сиянии  
Вечно друг друга любить...  
Помнишь ли, милая, наши свидания?  
Как же их трудно забыть!

Слушатели были задумчивы... В раскрытую форточку тянуло гнилою сыростью, в тесной комнате пахло пивом и табаком, лица у всех были малокровные, истощенные долгим и нездоровым трудом, – а песня говорила о какой-то светлой, ясной жизни и о светлой любви среди природы.

Пел соловей свои песни могучие,  
Стан твой сжимал я рукой...

Вдруг все взгляды обратились в угол за комодом. Пение смолкло. Ляхов, подперев голову руками и впившись пальцами в волосы, рыдал, низко наклонясь над столом. Он рыдал все сильнее. Мускулистые плечи судорожно дрожали от рыданий.

– Василий Васильевич, что это с вами? Успокойтесь! – сказала испуганная Александра Михайловна. – Выпейте воды холодной!

Она побежала в кухню и принесла из-под крана воды.

Ляхов вышел на середину комнаты, бледный, всклокоченный, с распухшими глазами.

– Скажи, Андрей, зачем ты меня сюда допустил? Разве мне тут место?... У вас тут хорошо и благородно, совесть у всех спокойна, вы можете песни петь, смеяться... А я – я вижу, какой я... подлец... и грязный негодяй...

Рыдания не дали ему говорить. Ляхов схватился за лоб и оперся о комод. Он рвал на себе галстук и манишку, чтоб дать волю дыханию.

Андрей Иванович положил ему руку на плечо и страдающим голосом сказал:

– Ну, Вася, полно, что ты? Успокойся!

– Женщины, женщины! – рыдая, проговорил Ляхов. – Теперь только я вижу, как много они дают нам хорошего и как жестоко мы их оскорбляем...

Он вдруг бухнулся в ноги Катерине Андреевне.

– Ай!!! – Она истерически вскрикнула и отшатнулась.

– Катя! Прости меня! Я поступил подло и скверно... Но я не могу жить без тебя... Если ты меня не простишь, я повешусь, либо брошусь в Неву... Катечка!

С торчащими вихрами волос, с разорванным воротом, он, рыдая, ползал по полу и целовал подол юбки Катерины Андреевны. Взволнованная Катерина Андреевна отодвигалась от него и робко оправляла юбку.

– Я для тебя, Катя, хуже разбойника, хуже гадины... Скажи, – что мне делать, чтоб ты простила? Все сделаю, что ве-



лишь. Топчи, плюй на меня... Только прости, Катя!

Андрей Иванович, бледный и нахмуренный, стоял, приклонясь спиной к комоду. Александра Михайловна и младшая Вереева смигивали слезы. Вдруг Катерина Андреевна, с заблестевшими глазами, порывисто схватила шею Ляхова и горячо поцеловала его.

Ляхов вскочил на ноги, схватил ее в объятия и осыпал поцелуями. Кругом зашевелились и заговорили.

– Ну, вот и слава богу! – с облегченной улыбкой сказала Александра Михайловна, украдкой отирая слезы. – Давно бы так!

Андрей Иванович провозгласил:

– Черт возьми, нужно выпить для примирения! Тут уже всем следует коньяку, иначе нельзя!.. Катерина Андреевна, позвольте вашу рюмку.

Катерина Андреевна, со счастливым, раскрасневшимся лицом, протянула рюмку.

Все стали чокаться с Катериной Андреевной и Ляховым. Они стали на время главными лицами вечера, словно новобрачные на свадьбе.

Стали опять танцевать. Опять Катерина Андреевна была царицею бала. Все приглашали ее наперерыв, и больше всех Ляхов. И всегда хорошенькая, она теперь, упоенная счастьем, была прекрасна. После вальса Ляхов проплясал трепака. Потом все перешли в комнату и попробовали петь хором; но вышло очень нестройно и безобразно. Упросили

снова петь сестер Вереевых.

Ляхов продолжал пить стакан за стаканом, рюмку за рюмкой; он вообще пил всегда очень быстрым темпом. Лицо его становилось бледнее, глаза блестели. Несколько раз он уже оглядел Катерину Андреевну загадочным взглядом. Сестры кончили петь «Мой костер в тумане светит». Ляхов вдруг поднял голову и громко сказал:

– Катька! Ты у меня кольцо в два с полтиной украла... Отдай назад!

Александра Михайловна рассмеялась и бросилась к нему.

– Василий Васильевич, что это! Вот-те раз! Вы позабыли, ведь вы помирились, помирились, – вспомните-ка!

– Ты мое кольцо стащила, когда от меня ушла! Давай назад! – грубо крикнул Ляхов.

Катерина Андреевна вспыхнула.

– Господи, да что это такое!

– Стыдно вам так говорить, Василий Васильевич! – сказала Александра Михайловна.

– Нет, не стыдно! Вы не знаете, какая она. Она беременная была, когда я ее взял.

– Слушай, Васька, нам это вовсе неинтересно знать! – крикнул Андрей Иванович.

– Она мне должна быть до гробовой доски благодарна, что я ее взял: я ее грех покрыл.

– Как же это вы покрыли? Женились, что ли? – спросила Александра Михайловна.

– Я сказал, что ребенок мой.

– Эка – «покрыли»! Все равно, в воспитательный его отдали!

Ляхов с презрением и ненавистью оглядывал Катерину Андреевну.

– У нее таких, как я, столько было, сколько у меня пальцев на руках. Ведь она все равно, что первая с улицы: любой помани, – она сейчас пойдет к нему ночевать. Вон на святках, когда мы на Зверинской жили...

И он бесстыдно начал вывертывать всю подноготную их совместной жизни. Катерина Андреевна, онемев от неожиданности и негодования, сидела и кутала лицо в платок.

Елизавета Алексеевна вскочила с места.

– Александра Михайловна, да как вы ему позволяете?!

– Если вы, Василий Васильевич, не перестанете, то ступайте отсюда! – сказала Александра Михайловна, побледнев.

– Фью-фью-фью-фью! – Ляхов засвистал и насмешливо оглядел обеих. – Слышишь, Андрей, как твоя жена выгоняет твоего друга?

– Я с нею вполне согласен! Это безобразие, конфуз! Сейчас же извиняйся в своем поступке, если хочешь тут оставаться!

– Так ты за жену, против друга?... Ты должен ей в зубы дать за то, что она смеет гнать твоего гостя вон.

Андрей Иванович гаркнул:

– Ступай вон!

– Не пойду! – спокойно ответил Ляхов, плотнее уселся на стуле и усмехнулся.

– И вам не стыдно, Ляхов?! – воскликнула Александра Михайловна.

– Не стыдно! – хвастливо ответил Ляхов.

– Kurat! (Черт!) Ты пойдес вон! – в бешенстве крикнул Лестман, поднялся во весь рост и стиснул кулаки. Тяжелый, свирепый и сосредоточенный хмель охватил его. Остальные мужчины тоже поднялись.

Ляхов оглядел всех, засмеялся и встал со стула.

– Черт ли мне тут с вами оставаться! Набрали шлюх к себе, смотрю, – что это? Ни одной нет честной женщины!.. Сволочь уличная, барабанные шкуры! Наплевать мне на вас на всех!..

И он, шатаясь, вышел.

## IX

На следующий день Андрей Иванович пришел в мастерскую угрюмый и злой: хоть он и опохмелился, но в голове было тяжело, его тошнило, и одышка стала сильнее. Он достал из своей шалфатки неоконченную работу и вяло принялся за нее.

Переплетная мастерская Семидалова, где работал Андрей Иванович, была большим заведением с прочной репутацией и широкими оборотами; одних подмастерьев в ней было шестнадцать человек. Семидалов вел дело умело, знал ходы и всегда был завален крупными заказами. С подмастерьями обращался дружески, очень интересовался их личными делами и вообще старался быть с ними в близких отношениях; но это почему-то никак ему не удавалось, и подмастерья его недолюбливали.

Андрей Иванович лениво скоблил скребком передок зажатой в пресс псалтыри in-quarto. Из-под скребка поднималось облако мелкой бумажной пыли, пыль щекотала нос и горло. Андрей Иванович старался сдерживаться, но, наконец, прорывался тяжелым кашлем; он кашлял долго, с наугою, харкая и отплевываясь, и, откашлявшись, снова принимался скрести. Рядом с ним приземистый Картавцов, наклонившись, околачивал молотком фальцы на корешке толстой «Божественной комедии». В длинной, низкой мастер-

ской было душно и шумно. В углу мерно стучал газомотор, под потолком вертелись колеса, передаточные ремни слабо и жалобно пели; за спиною Андрея Ивановича обрезающая машина с шипящим шумом резала толстые пачки книг; дальше, у позолотных прессов с мерцавшими синими огоньками, мальчишки со стуком двигали рычагами. Пол был усеян обрезками бумаги, пахло клейстером и газом.

Генрихсен, с пачкою книг под мышкой, медленно прошел к своему месту, положил книги на верстак и сел, бережно подперев голову рукою. Его полное бритое лицо с короткими усами было бледно и измято, волосы торчали в стороны. Он не шевелился, застыв в деревянной задумчивости. Андрей Иванович кивнул ему головою и вопросительно щелкнул себя по шее. Генрихсен нахмурился и сердито развел руками: он не опохмелялся, и опохмелиться было не на что. Увы, у самого Андрея Ивановича не было в кармане ни гроша. Генрихсен положил голову на другую руку и снова одеревенел.

Налево от Андрея Ивановича, за широким столом, два подмастерья, Ермолаев и Новиков, подклеивали штрейфенами большие, в девять кусков, карты России. Они рассматривали готовую карту. Новиков, молодой парень, поджав подбородок и подмигивая, говорил что-то, а Ермолаев заливался густым, басистым хохотом.

Андрей Иванович положил скребок, потянулся и, засунув руки в карманы, подошел к столу.

– Чего это вы? – сумрачно спросил он.

Новиков почтительно посторонился.

– Да вот, Андрей Иванович, все о путешественниках ту-жим! – Он юмористически-огорченно указал на карту. – По-растерялись у нас тут кой-какие городки, вот мы и огорча-емся: купит путешественник карту, а города-то и нет, куда ехать. Как быть?

– Листы-то в литографии какие вдоль печатаны, какие по-перек, – объяснил Ермолаев. – Там этого не разбирают, сы-рыми-то они разными и оказываются... Город Луга? К чер-ту, срезать! Кому нужно, тот и без карты найдет!.. Казань? Девалась неизвестно куда!.. Вот так карта, ха-ха-ха!..

Андрей Иванович молча смотрел работу и сквозь зубы спросил:

– Почему положил хозяин?

– Тринадцать копеек. Сам, говорит, взял по двадцать.

– По двадцать? Врет! – уверенно сказал Андрей Ивано-вич.

Ермолаев перестал смеяться и добродушно возразил:

– Ну, врет! С чего ему врать? На копейку клею пойдет, на три коленкору, три копейки барыша; тридцать рублей на заказ. Чего же ему? Довольно!

– Гм! Чертодалову-то нашему довольно?... Уж не знаю! – усмехнулся Новиков и взглядом обратился к Андрею Ива-новичу за одобрением.

Подошел Генрихсен, постоял, тупо и сонно глядя на них, и подвинулся к усердно работавшему Картавцову.

– Послушайте! Что, у вас двадцать копеек нету до субботы?

Картавцов растерянно положил молоток и стал поспешно шарить по карманам.

– Нету, Генрих Федорович!

Андрей Иванович мрачно следил за Картавцовым.

– Почему же у тебя нет? – резко спросил он. – Или уж все деньги в сберегательную снес?

Широкое лицо Картавцова стало еще более растерянным и жалким. Андрей Иванович не выносил его скопидомства и систематически преследовал за него Картавцова то добродушно, то злобно, смотря по настроению.

– Он прослышал, что вы вчера именинник были, – вмешался Новиков. – Нет, говорит, поостерегусь, ни гроша не возьму с собою: вдруг кто на похмелье двугривенный попросит! Дашь, а он до субботы помрет... Всего капиталу решишься, придется по миру идти!

– У тебя, Генрихсен, залогом нет ли? Под залог он даст! – захохотал Ермолаев.

Все, вслед за Андреем Ивановичем, стали по привычке травить Картавцова. Многие сами имели при себе деньги, но об этом они не помнили.

Картавцов густо краснел и хмурился.

– Да нету же у меня, господи! Ну, ей-богу, нет, вот!

– Почему же у тебя нету? – продолжал допрашивать Андрей Иванович. – Ты денег не пропиваешь, значит, должны быть у тебя; а у кого есть деньги, тот с пустым карманом не



уйдет из дому, потому что это неловко.

Картавцов, страдальчески нахмурившись, молчал и с превеликим старанием околачивал на книге фальцы.

– Това-а-рищ... – с презрением протянул Андрей Иванович. – Хоть поиздохни все кругом, ему только одна забота – побольше домой к себе натаскать. Настоящий муравей! Зато, дай десять лет пройдет, сам хозяином станет, мастерскую откроет... «Григорий Антоныч, будьте милостивы, нельзя ли работы раздобыться у вас?...»

Вошел мастер, Александр Дмитриевич Волков, мужчина с выхоленными светло-русыми усами и остриженный под гребенку. Все взялись за работу. Он спросил:

– Ляхова опять нет? Черт знает, что такое! Вот субъект! Лобшицу в понедельник заказ сдавать, а он тянет. Возьмите, Колосов, вы его работу, псалтыри потом кончите.

В это время вошел Ляхов, с опухшим лицом, пьяный.

– Ну, слава богу, явился, наконец! – сердито сказал мастер. – Вы что же, Ляхов, в мастерскую только для прогулки приходите, для моциону? Когда у вас заказ Лобшица будет готов?

– Когда срок придет, тогда и будет готов! – грубо ответил Ляхов, вытаскивая из шалфатки пачку книг.

– Да вы опять пьяны! – воскликнул мастер.

– Не на ваши ли деньги пил?

Мастер покраснел от гнева и закусил усы.

– Ну-ну, посмотрим! Вам, видно, штрафовать еще не

надоело!.. Прекрасно! – И он быстро вышел в контору.

Андрей Иванович чистил щеточкою выскобленный обрез. Ляхов бросил на верстак книги и большими шагами подошел к нему.

– Ты у меня сейчас будешь лежать под верстаком! – объявил он.

– Что так? Почему? – спросил Андрей Иванович.

– Ты чего не в свое дело суешься? Зачем ты меня вчера с Катькой поссорил?

Ляхов грозно и выжидающе в упор глядел на Андрея Ивановича.

– Я тебя поссорил? – удивился Андрей Иванович.

Вдруг Ляхов со всего размаху ударил Андрея Ивановича кулаком в лицо.

Удар пришелся в нос. В голове у Андрея Ивановича зазвенело, из глаз брызнули слезы; он отшатнулся и стиснул ладонями лицо. Сильные руки схватили его за борты пиджака и швырнули на пол. Ляхов бросился на упавшего Андрея Ивановича и стал бить его по щекам.

Ошеломленный неожиданностью и болью, не в силах подняться, Андрей Иванович беспомощно протягивал руки и пытался защищаться. В глазах у него замутилось. Как в тумане, мелькнуло перед ним широкое лицо Картавцова, от его удара голова Ляхова качнулась в сторону. Андрей Иванович видел еще, как Ляхов бешено ринулся на Картавцова и сцепился с ним, как со всех сторон товарищи-подмастерья бро-

сились на Ляхова...

Когда Андрей Иванович пришел в себя, Ляхова в мастерской уже не было; Генрихсен и мастер брызгали ему в лицо холодной водою, хозяин взволнованно расхаживал по узкому проходу между верстаками и прессами.

Андрей Иванович сидел на табуретке, прижавшись головою к рукаву поддерживавшего его Ермолаева, и рыдал, как женщина.

– Хам этакий, негодяй! – повторял Ермолаев, задыхаясь от негодования.

Картавцов, с блестящими глазами, с широкою ссадиною на левой скуле, стоял, тяжело переводя дыхание.

– Сейчас же на расчет его! – сказал хозяин. – И десять рублей штрафа за буйство!.. Подавайте, Колосов, к мировому, я сам буду свидетелем... Этакий скот! Черт знает, что такое!.. За что это он вас?

Андрей Иванович, не отвечая, рыдал. Товарищи участливо окружили его и наперерыв старались услужить. Мальчишки и чернорабочие с любопытством толпились вокруг, в дверь заглядывали сбежавшие сверху фальцовщицы.

Хозяин сказал:

– Вот что, Колосов, поезжайте лучше домой, успокойтесь. Стоит обижаться на этого пьяного зверя! Даю вам слово, завтра же его не будет у меня в мастерской.

Ермолаев отвез Андрея Ивановича домой на извозчике.

## X

Андрей Иванович пролежал больной с неделю. Ему заложило грудь, в левом боку появились боли; при кашле стала выделяться кровь. День шел за днем, а Андрей Иванович все не мог освоиться с тем, что произошло: его, Андрея Ивановича, при всей мастерской отхлестали по щекам, как мальчишку, – и кто совершил это? Его давнишний друг, товарищ! И этот друг знал, что он болен и не в силах защититься! Андрей Иванович был готов биться головою об стену от ярости и негодования на Ляхова.

Но рядом с этим ему довелось пережить теперь немало и очень сладких минут. Случай с Андреем Ивановичем вызвал в мастерской всеобщее горячее участие к нему. Хозяин прислал ему на лечение из больничной кассы двадцать пять рублей, товарищи все поголовно перебивали у Андрея Ивановича, приносили ему коньяку, апельсинов, ругали Ляхова и желали Андрею Ивановичу поскорей поправиться. Андрея Ивановича – отзывчивого, действительно готового для товарищей на все, – невыразимо трогало малейшее проявление товарищеского чувства к нему: в простом слове участия к его горю он был готов видеть торжество какого-то широко-го братства. По уходе гостя он долго лежал, задумавшись, с застывшею на лице светлою улыбкою, счастливый и гордый. О Картавцове Андрей Иванович вспоминал не иначе,

как с умилением: этого Картавцова он всегда так беспощадно и жестоко преследовал, – а тот, забыв все обиды, первый бросился ему на выручку...

Через неделю Андрей Иванович вышел на работу.

Он вошел в мастерскую, стараясь ни на кого не смотреть, стыдясь того оскорбления, которое он получил. Начатые им пасалтыри – заказ не спешный – лежали в его верстаке нетронутыми. Андрей Иванович начал вставлять книги в тиски.

– Здравствуй, Колосов! – раздался за его спиной голос.

Андрей Иванович вздрогнул, как от удара кнутом, и быстро обернулся. Перед ним стоял Ляхов, заискивающе улыбался и протягивал руку. Ляхов был в своей рабочей блузе, в левой руке держал скребок. Андрей Иванович, бледный, неподвижно смотрел на Ляхова: он был здесь, он по-прежнему работал в мастерской! Андрей Иванович повернулся к нему спиной и медленно пошел в контору.

Хозяин был в конторе. Увидев Андрея Ивановича, он смутился.

– А-а, Колосов, здравствуйте! – ласково произнес он. – Ну, как вы себя чувствуете?

Андрей Иванович, тяжело дыша, глядел на хозяина.

– Ляхов остается у вас? – с трудом сказал он.

– Нет! – решительно ответил Семидалов. – Я ему сказал, что оставлю его лишь в том случае, если вы его простите. Откровенно говоря, лишиться мне его теперь очень невыгодно: вы знаете, какой он хороший золотообрезчик, а пасха на

носу, заказов много... Но, во всяком случае, все дело совершенно зависит от вас.

– *Я его не прощаю!* – раздельно произнес Андрей Иванович.

Семидалов недовольно пожал плечами.

– Ваше дело!.. Правду говоря, мне немного странно, что вы относитесь так к вашему старинному товарищу; вы должны бы знать, что у него действительно были большие неприятности; невеста его бросила, он все время пьяный валяется по углам, – со стороны смотреть жалко; притом он сам себе теперь не может простить, что так оскорбил вас. Все это не мешало бы принять в расчет.

– Вам тоже не мешало бы принять в расчет, что он завтра же может опять избить меня в вашей мастерской. А я, Виктор Николаевич, человек больной.

– Ну, знаете, если об этом говорить, то ведь в конце концов он может вас избить и на улице, и у вас на квартире, – Семидалов старался не встретиться с упорным, пристальным взглядом Андрея Ивановича.

– На улице против этого есть полиция, в квартире это будет мое дело... Ну, да все равно! Позвольте мне на расчет! – сорвавшимся голосом произнес Андрей Иванович.

– Что вы, что вы, Колосов? Полноте! Я от своего слова никогда не отказываюсь. Я вам дал его и сдержу. Если вы мне заявите, что не хотите работать с Ляховым... А-а, Вильгельм Адольфович! – прервал он себя и встал, любезно улыбаясь.

В контору вошел издатель детских книг Лобшиц, постоянный заказчик заведения.

– Вы, Колосов, зайдите ко мне в контору после обеда, – скороговоркой сказал Семидалов. – Мы с вами еще потолкуем как следует.

Подмастерья и фальцовщицы расходились обедать.

Андрей Иванович спустился на улицу. Прошел Гребецкую, повернул налево и вышел к Ждановке. Был яркий солнечный день, в воздухе чуялась весна; за речкой, в деревьях Петровского парка, кричали галки, рыхлый снег был усыпан сучками; с крыш капало.

Андрей Иванович, присев на низкие деревянные перила набережной, неподвижно смотрел вдаль... Ляхова хозяин не прогонит – это Андрей Иванович понял сразу; и его первым решением было – сейчас же уйти самому; теперь новая, мучительная мысль пришла ему в голову: да ведь его уход для хозяина вовсе не страшен, напротив, хозяин будет очень рад избавиться от него!.. Андрей Иванович вспомнил, как недовольно морщился Семидалов, когда он просил у него вперед денег или пропускал по болезни несколько дней; еще две недели назад, когда Андрей Иванович попросил уволиться на полдня, чтоб сходить к доктору, хозяин с пренебрежительной усмешкой ответил: «Можете хоть совсем уволиться!..» Очень он накажет Семидалова своим уходом! Его и так держат из милости... Где же ему тягаться с Ляховым, у которого дело так и кипит в руках?

И главное – Андрей Иванович видел, что ему некуда уйти от Семидалова. Кто возьмет его такого – больного и слабого? Придется умереть с голоду. Само по себе это бы еще не испугало Андрея Ивановича. Но как только он представил себе, в каком он тогда положении окажется дома, Андрей Иванович почувствовал, что уйти ему от Семидалова невозможно; без работы, даже без надежды получить ее, как сможет он укрощать Александру Михайловну? Тогда придется работать ей, а он... он будет жить на ее содержании? Нет, лучше что угодно, только не это!

К трем часам Андрей Иванович воротился в мастерскую. Хозяин, видимо, поджидал его и сейчас же велел позвать к себе. Андрей Иванович, с накипавшими рыданиями обиды и злобы, вошел в контору.

Семидалов торжественно произнес:

– Ну, Колосов, решайте, оставаться у меня Ляхову или нет! Я сейчас узнал от него, что он помирился со своей невестой и после пасхи женится. Неужели даже ради этой радости вы не согласитесь его простить?

Дверь открылась, и вошел Ляхов. Опустив глаза, он медленно сделал два шага к Андрею Ивановичу и тихо сказал:

– Можете ли вы меня, Колосов, простить?

Андрей Иванович, тяжело дыша, растерянно оглядывал Ляхова.

– Могу ли я... простить?

Ляхов стоял, смиренно опустив голову. Но Андрей Ива-



нович видел, как насмешливо дрогнули его брови, – видел, что Ляхов в душе хохочет над ним и прекрасно сознает свою полнейшую безопасность. Судорога сдавила Андрею Ивановичу горло. Он несколько раз пытался заговорить, но не мог.

– Помнишь, Вася, – наконец, сказал он, – помнишь, восемь лет назад мы с тобой однажды поссорились? После этого мы обещались, что всегда будем уступать тому, кто из нас пьянее... и никогда не тронем друг друга пальцем. Я это обещание... сдержал...

Андрей Иванович замолчал и отвернулся, судорожно всхлипывая.

– Какое зверство! – продолжал он, весь дрожа от рыданий. – Ты, сильный, крепкий, – ты решился бить своего большого товарища... За что?...

Ляхов быстро заморгал глазами и потянул в себя носом.

– Ну, Андрей... прости! – Его голос дрогнул, и губы жалко запрыгали.

Андрей Иванович услышал, как дрогнул голос Ляхова. Счастливый жар обдал сердце. Но вдруг он вспомнил, что ведь он должен простить Ляхова, что ему другого выбора нет... Андрей Иванович стиснул зубы.

– Ну, что же, Колосов, прощаете вы своего товарища? – спросил Семидалов. – Он вас жестоко обидел, но вы видите, как он раскаивается... Миритесь, миритесь, господа! – с улыбкою сказал он и подошел к ним. – Ну, пожмите друг другу руки в знак примирения!

Он соединил руки Андрея Ивановича и Ляхова. Они обменялись рукопожатиями. Хозяин весело воскликнул:

– Вот и прекрасно! За те дни, которые вы пролежали по вине Ляхова, вы получите из его заработка... Желаю вам всегда жить в дружбе. Вот Ляхов скоро женится на своей Кате, – вы у него будете на свадьбе шафером.

– Женатые шаферами не бывают! – ответил Андрей Иванович, с ненавистью оглядел Семидалова и вышел из конторы.

# XI

Для Андрея Ивановича начались ужасные дни. «Ты – нищий, тебя держат из милости, и ты должен все терпеть», – эта мысль грызла его днем и ночью. Его могут бить, могут обижать, – Семидалов за него не заступится; спасибо уж и на том, что позволяет оставаться в мастерской; Семидалов понимает так же хорошо, как и он сам, что уйти ему некуда.

И Андрей Иванович продолжал ходить в мастерскую, где бок о бок с ним работал его ненаказанный обидчик. Все шло совсем по-обычному. Товарищи по-прежнему здоровались, разговаривали и пили с Ляховым, и никто даже не вспоминал о той страшной обиде, которую ни за что ни про что нанес Ляхов их больному товарищу. Андрей Иванович стал молчалив и сосредоточен; за весь день работы он иногда не перекидывался ни с кем ни словом. Ляхов пытался с ним заговорить, всячески ухаживал за ним, но Андрей Иванович не удостоивал его даже взглядом.

Он мог бы простить Ляхова, – о, он простил бы его с радостью, горячо и искренно, – но только, если бы это было результатом его свободного выбора. Теперь же само желание Ляхова получить прощение смахивало на милостыню, которую он по доброй воле давал обиженному Андрею Ивановичу. А для Андрея Ивановича ничего не могло быть ужаснее милостыни.

Здоровье его после побоев Ляхова не поправлялось. С каждым днем ему становилось хуже; по ночам Андрей Иванович лихорадил и потел липким потом; он с тоскою ложился спать, потому что в постели он кашлял, не переставая, всю ночь – до рвоты, до крови; сна совсем не было. Во время работы стали появляться мучительные боли в груди и левом боку; поработав с час, Андрей Иванович выходил в коридор, ложился на пол, положив под себя папку, и лежал десять – пятнадцать минут; отдышавшись, снова шел к верстаку. И часто он с отчаянием думал о том, что его «хроническое воспаление легких», по-видимому, переходит в чахотку.

Вырабатывал теперь Андрей Иванович страшно мало. Даже не пропустив за неделю ни одного дня, – а это бывало редко, – он приносил в субботу домой не более четырех-пяти рублей. Настоящая нужда была теперь дома, и Александре Михайловне не нужно было притворяться, что нельзя достать в долг, – в долг им, правда, перестали верить. Платить за комнату десять рублей было теперь не по средствам; они наняли за пять рублей на конце Малой Разночинной крошечную комнату в подвальном этаже; в двух больших комнатах подвала жило пятнадцать ломовых извозчиков. Воздух был промозглый, сырой, в углах стояла плесень, капитальная стена была склизка и холодна на ощупь. Зина худела и жаловалась на ломоту в ногах, Андрей Иванович стал кашлять еще больше. И все-таки он не позволял Александре Михайловне искать работы.

Жизнь Александры Михайловны и Зины обратилась в беспросветный ад. Они не знали, как стать, как сесть, чтоб не рассердить Андрея Ивановича. Александра Михайловна постоянно была в синяках, Андрей Иванович бил ее всем, что попадалось под руку; в самом ее невинном замечании он видел замаскированный упрек себе, что он не может их содержать. Мысль об этом заставляла Андрея Ивановича страдать безмерно. Но у него еще была одна надежда, и он держался за нее, как утопающий за обломок доски.

У Александры Михайловны был троюродный брат по матери, очень богатый водочный заводчик Тагер; он знал ее ребенком. Года три назад Александра Михайловна решила сделать ему родственный визит и напомнить о себе. Тагер признал ее и принял очень ласково, расспрашивал о муже, и на прощание просил ее в случае нужды обращаться к нему. Год назад Андрей Иванович начал кашлять, доктор советовал ему переменить занятие. Андрей Иванович вспомнил о Тагере и через Александру Михайловну попросил у него места. Тагер дал Александре Михайловне карточку к своему приятелю, владельцу многочисленных винных складов в Петербурге. Тот предложил Андрею Ивановичу место в пятьдесят рублей, но в разговоре назвал его «ты». Андрей Иванович вспыхнул.

– Вы, кажется, на вид как будто благородный человек, черный сюртук носите, – сказал он. – К чему же эта серая мужицкая повадка – «ты» людям говорить? Вы не в деревне, а

в Петербурге.

Разумеется, дело расстроилось. Теперь Андрей Иванович снова послал Александру Михайловну к Тагеру. На этот раз Тагер встретил ее очень холодно и объявил, что, к сожалению, «соответственного» места не имеет для ее мужа. Через неделю Андрей Иванович послал Александру Михайловну снова. Тагер принял ее в передней, не протягивая руки, и сказал, что будет иметь ее мужа в виду и, если что навернется подходящее, известит ее. Александра Михайловна рассказала Андрею Ивановичу, как ее принял Тагер. Андрей Иванович выслушал, закусив губы от негодования и ненависти... и через три дня снова послал ее к Тагеру.

– Андрюша, да пойми же, ну, как же я пойду? – со слезами стала возражать Александра Михайловна. – Он даже разговаривать со мною не хочет!

– Должна же ты для мужа хоть немножко постараться, – сердито сказал Андрей Иванович. – Попроси его хорошенько.

– Так ты бы сам лучше пошел.

– Чего я сам пойду? Это твое дело. Он родственник тебе, а не мне.

Он таки заставил ее пойти. У Тагера лакей впустил Александру Михайловну в переднюю, пошел с докладом и, воротившись, объявил, что барина нет дома.

Андрей Иванович, в ожидании Александры Михайловны, угрюмо лежал на кровати. Он уж и сам теперь не надеялся на

успех. Был хмурый мартовский день, в комнате стоял полумрак; по низкому небу непрерывно двигались мутные тени, и трудно было определить, тучи ли это или дым. Сырой, тяжелый туман, казалось, полз в комнату сквозь запертое наглухо окно, сквозь стены, отовсюду. Он давил грудь и мешал дышать. Было тоскливо.

Андрей Иванович отвернулся к стене и попробовал заснуть. Но сон не приходил; при закрытых глазах сумрак давил душу, наполнял ее тоской и раздражением. Андрей Иванович лежал неподвижно пять минут, десять. Вдруг где-то очень далеко раздался звонкий, смеющийся голос Зины. Она весело кричала: «Караул!..»

Где она кричит?... Андрей Иванович продолжал неподвижно лежать и старался заснуть. Но этот голос, так неподходяще-весело звучащий среди тоски и тьмы, раздражал Андрея Ивановича; ему казалось, он именно из-за него не может заснуть.

– Караул! Караул! – задорно и весело неслись издалека крики, как будто отражаемые какими-то сводами.

Андрей Иванович порывисто встал, сунул босые ноги в калоши, накинул пальто и пошел на голос. Зина и кухаркина дочь Польшка сидели в сенях, запрятавшись за старые оконные рамы, держали перед ртами ладони и кричали: «Караул!» Каменные своды подвала гулко отражали крики.

– Что это ты тут делаешь? Вылезай-ка! – отрывисто сказал Андрей Иванович.

Зина, испачканная пылью и паутиной, торопливо вылезла из-за рамы.

– Почему ты кричала «караул»?

– Я нарочно! – ответила Зина побелевшими губами.

Андрей Иванович широко раскрыл глаза.

– Как это так – нарочно? Ты не знаешь, когда люди кричат «караул»?

Он притащил Зину в комнату и жестоко оттрепал.

– Сидеть на стуле и молчать! – яростно крикнул он. – Чтоб я твоего голоса больше не слышал!

Зина, сдерживая всхлипывания, взобралась на стул и замерла. Гнев несколько облегчил Андрея Ивановича. Он снова лег на кровать, принял морфия и задремал.

Андрей Иванович спал около часу. Проснувшись, он вдруг почувствовал, что у него на душе стало хорошо и весело; и все кругом выглядело почему-то веселее и привлекательнее; Андрей Иванович не сразу сообразил, отчего это.

Зина радостно кричала на кухне:

– Солнышко! Солнышко!

За время сна Андрея Ивановича небо очистилось, и яркие лучи лились в окно. Конфорка самовара и медная ручка печной дверцы играли жаром, кусок занавеси у постели просвечивал своими алыми розами, в столбе света носились золотые пылинки; чахлые листья герани на окне налились ярко-зеленым светом.

Зина, в своих расплзшихся башмачонках, стояла в кухне



перед окном и заливалась смехом.

– Ах, как жить на свете хорошо, когда солнышко светит! – повторяла она, жмурилась и хлопала в ладоши.

Андрей Иванович смотрел на Зину через открытую дверь; он смотрел на ее отрепанное платье и распадавшиеся башмаки, на бледное, прозрачно-восковое лицо и думал о том, что у нее тоже есть своя маленькая самостоятельная жизнь, свои радости и горести, независимые от его горя.

Александра Михайловна воротилась от Тагера.

– Ну, что? – рассеянно спросил Андрей Иванович.

– Не принял меня.

Андрей Иванович помолчал.

– Черт с ним! Отъелся, брюхо отпустил себе, где же тут еще о людях думать!.. Знаешь, Шурочка, – поколебавшись, прибавил он, – пока что... Место подходящее не сразу найдешь... Придется и тебе тоже работы какой поискать себе.

Александра Михайловна просияла.

– Да как же иначе? Господи! О чем же я все время говорила тебе? Разве так можно жить? Все равно что нищие стали. Где же тебе теперь одному управиться!

– Ах, оставь, пожалуйста! – раздраженно ответил Андрей Иванович. – Я превосходно могу управиться! Дай подлечусь либо подходящее место получу, тогда твоя помощь будет совершенно излишняя. А что действительно сейчас я мало зарабатываю... Вон у Зины башмаков нету, даже на двор выйти не может, – ты бы вот на башмаки ей и заработала. Нужно и

тебе немножко потрудиться, не все же на готовый счет жить.

Они долго обсуждали, чем заняться Александре Михайловне. Выбор был небогатый, – Александра Михайловна толком ничего не умела делать; на языке ее несколько раз вертелся упрек, что вот теперь бы и пригодилось, если бы Андрей Иванович вовремя позволил ей учиться; но высказать упрек она не осмелилась. Решили, что Александра Михайловна поступит пачечницей на ту же фабрику, где работала Елизавета Алексеевна.

## XII

В мастерской жизнь шла обычным ходом. Ляхов был повсегдашнему неизменно весел; и хозяин, и товарищи относились к нему хорошо; никто не поминал об его безобразном поступке с Андреем Ивановичем, мало кто даже помнил об этом. Но, чем больше забывали другие, тем крепче помнил Андрей Иванович.

Склонившись над верстаком, он угрюмо слушал болтовню и шутки товарищей с Ляховым. Прошло всего три недели, как в этой самой мастерской Ляхов зверски избил его, – и они уже забыли, как сами возмущались этим, забыли все... Самих их ведь никто не даст в обиду – они хорошие работники; а требовать, чтобы была обеспечена безопасность Андрея Ивановича, – с какой стати? За это, пожалуй, можно еще поплатиться!

Теперь Андрей Иванович с презрением и насмешкой вспоминал о том светлом чувстве, какое в нем раньше возбуждала мысль о товариществе. Он смотрел в окно, как по туманному небу тянулся дым из фабричных труб, и думал: везде кругом – заводы, фабрики, мастерские без числа, в них работают десятки тысяч людей; и все эти люди живут лишь одною мыслью, одною целью – побольше заработать себе, и нет им заботы до всех, кто кругом; робкие и алчные, не способные ни на какое смелое дело, они вот так же, как сей-

час вокруг него, будут шутить и смеяться, не желая замечать творящихся вокруг обид и несправедливостей. И всегда так будет.

И ему вдруг пришла в голову мысль: он, Андрей Иванович, болеет, товарищи видят, как он мало зарабатывает, и, однако, ни разу не сделали ему подписки. Эти жалкие люди даже на такую мелочь неспособны по собственному побуждению. Андрей Иванович хорошо знал, как обыкновенно производятся подобные подписки: когда он, бывало, подходил с подписным листом, на котором сам первый вписывал рубль, то лишь двое-трое подписывались охотно, остальные же мялись и подписывались только под влиянием упреков и насмешек Андрея Ивановича. А теперь все они очень рады, что некому их заставить. Не пойдет же Андрей Иванович с подписным листом для себя!.. И он с ненавистью слушал басистый, глупый хохот Ермолаева на шутку Ляхова и вспоминал, что этому самому Ермолаеву, когда он в прошлом году лежал в больнице с воспалением легких, он, Андрей Иванович, собрал по подписке двенадцать рублей.

Это разочарование в товарищах мучило Андрея Ивановича еще больше, чем бессильная ненависть к Ляхову, счастливому, здоровому и сильному. Да и в Ляхове он ненавидел теперь не его самого: в нем для Андрея Ивановича сосредоточилось все товарищество, в которое Андрей Иванович верил, которому был готов служить и которое так жестоко обмануло его.

Ляхов продолжал усиленно ухаживать за Андреем Ивановичем. Но Андрей Иванович упорно и резко отталкивал все его подходы. Ляхов попробовал действовать через Катерину Андреевну. Она пришла в воскресенье к Колосовым, сияющая, счастливая, и пригласила их на свое обручение.

– Вы все-таки выходите за Ляхова? – спросила Александра Михайловна.

– Да.

– А как же тот, черненький? – вполголоса осведомилась Александра Михайловна.

Катерина Андреевна поморщилась и повела плечами.

– Ну его, – скучный он! Вася лучше... Так вы уж, Андрей Иванович, не откажите нам, приходите в воскресенье. Вася вас так просит!

– Пускай ждет! Только, право, не знаю, дождется ли!

Андрей Иванович сумрачно усмехнулся.

Катерина Андреевна помолчала.

– Простили бы вы его, Андрей Иванович! Ну что сердиться! Можно ли с пьяного человека взыскивать? Он так жалеет, что оскорбил вас! Все, говорит, готов сделать, чтоб опять получить дружбу Андрея Ивановича. Право, помирились бы!

– Я не женщина, Катерина Андреевна! – сурово ответил Андрей Иванович. – Вас вот можно как угодно оскорбить, а потом приласкай вас – вы и забудете все. А я не могу простить, когда попирают мои права, потому что я не раб, не невольник! Он этого никогда не дождется, так и передайте

ему, негодяю!

В следующую субботу, после получки, Андрей Иванович зашел в «Сербию» выпить рюмку коньяку. В отрепанном пальто, исхудалый, с частым, хрипящим дыханием, он медленно подошел к буфету, не глядя по сторонам. Как раз возле буфета сидели за столиком Ляхов, Ермолаев и еще трое подмастерьев.

– Андрей Иванович, садись к нам, – сказал Генрихсен. – Что так одному-то пить.

Андрей Иванович угрюмо буркнул:

– Мне к спеху!

– Горд стал Колосов! – заметил Ермолаев. – Гнушается своими товарищами.

Андрей Иванович оглядел его с ног до головы.

– Горд? О нет, ты ошибаешься, я вовсе не горд...

Ляхов вдруг быстро встал и подошел к нему.

– Андрей! Ну, будет!.. Ради бога! – умоляюще произнес он, протягивая объятия. – Ну, прости меня! Я перед всеми товарищами прошу тебя: прости!

– Тебе и без моего прощения хорошо живется, – с ненавистью ответил Андрей Иванович.

– Ну, ради бога! Андрюша!.. Тебе моя палка нравилась, позволь мне ее подарить тебе в знак примирения! Из черного дерева палка, семь рублей заплачено... На! Прошу тебя, прими!

Андрей Иванович хотел повернуться и уйти, но вдруг

остановился.

– Хорошо, я принимаю! – неожиданно сказал он и взял палку. – Но помни, Васька! – Задыхаясь, он постучал концом палки по столу. – Помни: когда я напьюсь так же, как ты в тот день, я всю эту палку обломаю о твою голову!

В голосе и в лице Андрея Ивановича было что-то до того страшное, что Ляхов побледнел; в его выпуклых глазах мелькнул испуг. Андрей Иванович, тяжело опираясь на палку, вышел из трактира.

На темной улице было пустынно и тихо. Чуть таяло. Андрей Иванович задумчиво шел. Он хорошо заметил, как Ляхов испугался его угрозы. И ему было странно, как это ему до сих пор не пришла в голову мысль о таком исходе. Конечно, он так и поступит: напьется, придет в мастерскую и на глазах у всех изобьет Ляхова до полусмерти; когда же хозяин вознегодует, то Андрей Иванович удивленно ответит ему: «Ведь у вас в мастерской драться позволяется!»

С этой поры мысль о предстоящей отплате заполнила всю душу Андрея Ивановича; он с наслаждением стал лелеять и обдумывать эту мысль, радуясь и недоумевая, как он не пришел к ней раньше.

Александра Михайловна, получив от Андрея Ивановича разрешение работать, ревностно взялась за новое, непривычное дело. По природе она была довольно ленива; но в доме была такая нужда, что Александра Михайловна для лишней копейки согласилась бы на какую угодно работу.

Попасть на фабрику ей не удалось, и она брала работу из фабрики на дом. В этом было много неудобного: пачечницы, работавшие на самой фабрике, могли все время отдавать работе, – между тем у Александры Михайловны много времени шло даром на ходьбу за материалом, носку и выгрузку товара и т. п. Кроме того, приходилось тратиться на освещение. Но самое невыгодное было то, что, несмотря на все это, работавшие на дому получали меньше, чем работавшие на фабрике: вторым платили за тысячу пачек двадцать копеек, первым же только восемнадцать. Причина этого была непонятна, но так делалось во всех фабриках. Притом домашним пачечницам выдавался и клей низшего качества, и бланки, которые хуже клеились. Вообще к ним относились в фабричной конторе так, как будто они были нищие, приходившие за подаванием.

Работая с пяти часов утра до полуночи, Александра Михайловна могла сготовить три-четыре тысячи пачек. Но редко представлялась возможность наработать столько. Если она приносила за день три тысячи пачек, конторщик сердился: «Что это так скоро? На вас бланков не напасешься! Приходи завтра после обеда!» Иногда бланков не выдавали по два, по три дня. Зато, когда у набивщиков было мало пачек, конторщик начинал торопить Александру Михайловну: «Ты, милая, поскорее работу сготовь, хоть пять тысяч принеси, все приму; уж ночь не поспи, а постарайся, а то дело станет». И Александра Михайловна не спала ночь, готовя



пачки к сроку.

Когда подсчитывали недельный заработок, оказывалось, что Александре Михайловне следует получить два, два с полтиной.

Андрей Иванович не мог без раздражения смотреть на ее работу; эта суетливая, лихорадочная работа за такие гроши возмущала его; он требовал, чтоб Александра Михайловна бросила фабрику и искала другой работы, прямо даже запрещал ей работать. Происходили ссоры. Андрей Иванович бил Александру Михайловну, она плакала. Все поиски более выгодной работы не вели ни к чему.

Александра Михайловна вспомнила, что Катерина Андреевна как-то говорила ей, что у них в картонажной мастерской зарабатывают полтора рубля в день. Она тайком от Андрея Ивановича пошла к Катерине Андреевне. Катерина Андреевна сильно смутилась и ответила, что сейчас все места у них заняты. Александра Михайловна пошла к ее подруге, которую раза два встречала у Катерины Андреевны. Та расхохоталась и объяснила Александре Михайловне, что мастерицы вырабатывают у них те же пятьдесят – семьдесят копеек, как и везде, а Катерина Андреевна действительно получает полтора рубля; но она их получает от хозяина не только за работу, но и... «за свою красоту»...

## XIII

Было Благовещение. Андрей Иванович лежал на кровати, смотрел в потолок и думал о Ляхове. За перегородкою пьяные ломовые извозчики ругались и пели песни. Александра Михайловна сидела под окном у стола; перед нею лежала распущенная пачка коричневых бланков, края их были смазаны клеем. Александра Михайловна брала четырехгранную деревяшку, быстро сгибала и оклеивала на ней бланк и бросала готовую пачку в корзину; по другую сторону стола сидела Зина и тоже клеила.

Андрей Иванович весь кипел раздражением.

– Долго еще эта канитель будет тянуться? – сердито спросил он. – Кажется, сегодня праздник, можно бы и не работать!

Александра Михайловна робко возразила:

– Как же быть, Андрюша? Конторщик велел, чтоб непременно к завтраму было шесть тысяч.

– «Конторщик велел»... Мало ли, что тебе будет приказывать конторщик!.. Брось, пожалуйста, ты ему не раба. Зануть нельзя!.. «Велел»... А зачем он целых три дня всего по тысяче давал тебе?

– Тут уж не приходится рассуждать.

Андрей Иванович широко раскрыл глаза и поднялся на постели.

– Как это не приходится рассуждать? Ты не животное, а человек, тебе для того и разум дан, чтоб рассуждать. Дура!.. Брось, я тебе говорю!.. Слышишь ты? – грозно крикнул он.

Александра Михайловна покорно отложила работу. Теперь, когда Андрей Иванович много бывал дома, она совершенно подчинилась ему и не смела слова сказать наперекор. Андрей Иванович лежал, злобно нахмутив брови. Александра Михайловна пошла поставить самовар, потом воротилась и, молча сев к столу, стала читать «Петербургскую газету».

Каждое движение, каждый жест Александры Михайловны возбуждали в Андрее Ивановиче неистовую ненависть. Он сдерживался, чтоб не заорать на нее, – ему было противно, что у Александры Михайловны толстый живот, что она сморкается громко и что у нее на правом локте заплата.

– Что это ты читаешь?

– Вот тут напечатано: «Мнение женщин о мужчинах».

– К чему это тебе знать, скажи, пожалуйста? Для тебя такое чтение совсем не подходяще, ты и так не умна. Дай сюда газету!

Андрей Иванович вырвал у нее газету и стал читать. Через десять минут газета опустилась к нему на грудь. Он задремал. Но кашель вскоре разбудил его. Андрей Иванович кашлял долго и никак не мог откашляться; на лбу вздулись жилы, в комнате распространился противный кисловатый запах, которым всегда несет от чахоточных.

– А что ж, самовар у тебя ко второму пришествию поспеет? – спросил Андрей Иванович, перестав, наконец, кашлять.

– Самовар готов. Я тебя только тревожить не хотела, что ты спал.

Александра Михайловна подала самовар. Андрей Иванович, в туфлях и в жилетке, – всклокоченный, угрюмый, – пересел к столу.

– Сходи купи водки пеперментовой, – отрывисто сказал он. – Выпить охота.

– Андрюша, ведь опять жар у тебя будет, как вчера, – просительно возразила Александра Михайловна.

У Андрея Ивановича загорелись глаза.

– Это ты мне намекаешь, что я на твой счет пью? – спросил он, стиснув зубы. – Дрянь ты паршивая! – закричал он и яростно затопал ногами. – Никогда мне водка не вредит, она мокроту разбивает! Ты мне хочешь сказать, что я от тебя завишу... Не надо мне твоей водки, убирайся к черту!

– Мне не жалко, Андрюша, я пойду.

– Не нужно мне твоей водки, понимаешь ты?... Гадина! Ничего от тебя не стану принимать! С голоду подохну, а от тебя корки хлеба не приму!

Он, задыхаясь, пошел к кровати и лег. Александра Михайловна тихонько оделась, ушла и принесла пеперментовой водки.

Андрей Иванович лежал на постели и глядел горящими

глазами в потолок. Александра Михайловна сказала:

– Готово, Андрюша. Иди!

– Я тебе сказал, что мне не нужно твоей водки, – с ненавистью ответил Андрей Иванович. – Поняла ты это или нет?

Он быстро встал с постели, оделся и вышел вон.

У него спиралось дыхание от злобы и бешенства: ему, Андрею Ивановичу, как нищему, приходится ждать милости от Александры Михайловны! Захотелось чего, – поклоняйся раньше, попроси, а она еще подумает, дать ли. Как же, теперь она зарабатывает деньги, ей и власть, и все. До чего ему пришлось дожить! И до чего вообще он опустился, в какой норе живет, как плохо одет, – настоящий ночлежник! А Ляхов, виновник всего этого, счастлив и весел, и товарищи все счастливы, и никому до него нет дела.

Андрей Иванович остановился на дамбе Тучкова моста. Куда идти? Идти было не к кому. Единственным человеком, в привязанности которого он не сомневался, был чухонец Лестман, но Андрей Иванович не мог без раздражения думать о нем Лестман за это время несколько раз проведовал Андрея Ивановича. Придет, сядет – и молчит, и нелепо вздыхает, а уходя, предлагает Андрею Ивановичу займы денег. Болван! Очень ему нужны его деньги! Вечерело, алые пятна зари на западе тускнели, по набережной в синеватой дымке засветилась цепь огоньков. Андрей Иванович стоял, закусив губы, и мрачно смотрел на огоньки. Вдруг он вспомнил о Барсукове. Не поехать ли к нему? Андрей Иванович прене-

брежительно усмехнулся, воротился к разъезду и сел на проходившую конку.

Барсуков со всеми его взглядами казался теперь Андрею Ивановичу удивительно наивным и неумным. Ехал он к нему вовсе не для того, чтоб отвести душу, – нет, ему хотелось высказать Барсукову в лицо, что он – ребенок и тешится собственными фантазиями, что жизнь жестока и бессмысленна, а люди злы и подлы, и верить ни во что нельзя.

С иронической улыбкою он мысленно обращался к Барсукову:

«Вы желаете знать, отчего происходит различное электричество и что такое чувствительная литература? Все это совершенно излишне, и никакой от этого не будет пользы».

Поезд пригородной дороги, колыхаясь, мчался по тракту. Безлюдные по будням улицы кипели пьяною, праздничною жизнью, над трактом стоял гул от песен криков, ругательств. Здоровенный ломовой извозчик, пьяный, как стелька, хватался руками за чугунную ограду церкви и орал во всю глотку: «Го-о-оо!! Ку-ку!! Ку-ку!!». Необъятный голос раскатывался по тракту и отдавался за Невою.

– Ванька, зачем забор ломаешь! – зычно крикнул кто-то с имперяла.

– Пятиалтынный пропил? – спросил другой.

– Го-го-го-гоо! – откликнулся ломовик, мощно потрясая ограду. – Ку-ку!! Ку-ку!! – снова понеслось над трактом.

По улице, среди экипажей, шагали в ногу трое фабрич-

ных, а четвертый шел перед ними задом, размахивая бутылкою, и с серьезным лицом командовал: «Левой! Левой! Левой!..» У трактира гудела и колыхалась толпа, мелькали кулаки, кто-то отчаянно кричал: «Городово-о-ой!.. Городово-о-ой!..»

Барсуков занимал от хозяйки довольно большую комнату вместе с товарищем. Андрей Иванович застал обоих дома – они сидели за чаем и читали газету. Товарищ Барсукова, Щепотьев, был стройный парень с энергичным, суровым лицом, с насмешливой складкой в углах губ.

Барсуков встретил Андрея Ивановича очень радушно. Он усадил его пить чай и с участием стал расспрашивать о здоровье. Про его историю с Ляховым он слышал от Елизаветы Алексеевны.

– Здоровье ничего, спасибо! – с угрюмой усмешкою ответил Андрей Иванович. – Если до лета доживу, так отслужу благодарственный молебен... За друзей! За товарищество! Да и за хозяина кстати... Как же! Ведь он мне большую милость оказал: меня в его мастерской избили, а он ничего, не рассердился на меня, позволил остаться.

Андрей Иванович просидел у Барсукова часа два. Он высказал все, что собирался высказать. Барсуков стал ему возражать, в спор вмешался и Щепотьев. Щепотьев был умнее и развитее Барсукова, говорил резко и убедительно. Но Андрей Иванович не сдавался, он мало даже слушал возражения, а с упорною, сосредоточенною злобою продолжал дока-

зывать, что все люди подлецы и все ерунда.

Назад он ехал раздраженный и сердитый. Его собственные доводы убедили его еще сильнее в правильности его теперешних воззрений, и светлый взгляд его собеседников на жизнь и на будущее раздражал его. Как они не понимают, что это ребячество, как могут они находить случай с ним недоказательным!.. О, для самого Андрея Ивановича случай был очень доказателен: никому ни до кого нет дела, кроме как до себя... И вдруг мысль, которою Андрей Иванович до сих пор тешился и успокаивал себя, встала перед ним с полной определенностью; конечно, он изобьет Ляхова в мастерской, и он сделает это завтра же!



## XIV

Утром Александра Михайловна понесла корзину с готовыми пачками на фабрику. Андрей Иванович выслал Зину в кухню и ножом открыл замок комода; в правом углу ящика, под тряпками, он отыскал кошелек и из полутора рублей взял восемьдесят копеек; потом Андрей Иванович захватил палку, которую ему подарил Ляхов, и вышел из дому.

Он зашел в «Сербию», сел в угол к столику и спросил коньяку. Андрей Иванович хорошо знал, как он страшен во хмелю, и хотел раньше напиться. В трактире посетителей было мало; стекольщик вставлял стекло в разбитой стеклянной двери, буфетчик сидел у выручки и пил чай.

Андрей Иванович выпил одну рюмку, сейчас же за нею другую и закусил мятной лепешечкой. В голове слегка зашумело. Он выпил третью рюмку. Лицо бледнело, в голове становилось все туманнее. Глядя горящими глазами в окно, он лихорадочно курил папиросу за папиросой и вспоминал о том испуге, какой охватил Ляхова при его угрозе. Выпил еще две рюмки. Дикое исступление бешенства росло в нем, вздымалось и охватывало душу. В этом было что-то захватывающе-радостное. Горькое сознание беспомощности и одиночества исчезло; Андрей Иванович чувствовал в себе силу, против которой ничто не устоит и которой не нужна ничья помощь.

Он не помнил, как допил бутылку, как прошел улицу. В конторе хозяин разговаривал с двумя заказчиками. Андрей Иванович сорвал с себя в конторе пальто, бросил его на подоконник и с палкою в руках вошел в мастерскую.

Ляхов сидел у верстака, лицом к окну, и, наклонившись, резал на подушечке золото. Среди ходивших людей, среди двигавшихся машин и дрожащих передаточных ремней Андрей Иванович видел только наклоненную вихрастую голову Ляхова и его мускулистый затылок над синею блузою. Сжимая в руке палку, он подбежал к Ляхову.

– Получай должок! – крикнул Андрей Иванович и с размаху ударил Ляхова по голове.

Ляхов втянул голову в плечи, в гневе вскочил и обернулся. Андрей Иванович, с всклокоченной головою, с горящими на исхудалом лице глазами, кинулся на него с палкою. Ляхов побледнел и отшатнулся.

– Кара-у-ул!!! – вдруг заорал он на всю мастерскую, еще глубже втянул голову в плечи и бросился бежать.

Тупой, животный ужас охватил его – ужас, при котором перестают рассуждать. Сталкивая всех локтями с дороги, Ляхов стрелою пробежал длинную мастерскую, выскочил на площадку и помчался по крутой каменной лестнице наверх, в брошировочное отделение. Андрей Иванович, задыхаясь, бежал за ним.

– Караул!.. Караул!.. – коротко выкрикивал Ляхов на бегу. Они побежали между верстаками, задевая за пачки ли-

стов. Листы дождем сыпались на землю, девушки-фальцовщицы в испуге и удивлении кидались в стороны.

Ляхов влетел в комнату мастера, с ужасом слыша, что Андрей Иванович не отстаёт. Другого выхода из комнаты не было. Ляхов в отчаянии повернулся и быстро бросился навстречу Андрею Ивановичу. Они столкнулись на пороге, Андрей Иванович полетел навзничь. В том же тупом, нерассуждающем ужасе Ляхов кинулся на него, вцепился рукою в горло и, схватив в кулак валявшийся на полу костной фальцбейн, стал наносить Андрею Ивановичу удары по голове. С третьего же удара костяшка сломалась, но обезумевший от страха Ляхов ничего не замечал и продолжал наносить удары обломком.

– Это что такое? – раздался громовой голос хозяина.

Ляхов очнулся и поднялся на ноги, бледный и дрожащий. Андрей Иванович сидел, свесив окровавленную голову, ерзал руками по полу и старался вскочить.

– Опять скандалы тут поднимать?! – в бешенстве кричал хозяин.

Ляхов бросил костяшку и, ругаясь, пошел вниз.

– Нет, брат... погоди! – хрипел Андрей Иванович. Он поднялся на ноги и, шатаясь, побежал вслед за Ляховым.

– Удержать его, чего смотрите? – крикнул хозяин брошюрантам. – В участок захотелось тебе, скандалист ты этакий? Андрей Иванович остановился.

– В участок?! – заревел он и устремился на Семидалова. –

Сукин ты сын, эскулап!..

Брошюранты схватили Андрея Ивановича.

Товарищи-подмастерья упросили хозяина не отправлять Андрея Ивановича в участок. Он плюнул и позволил им убрать его, куда угодно.

Андрея Ивановича, пьяного и залитого кровью, свезли домой. Он ругался и старался вырваться от сопровождавших его Ермолаева и Генрихсена. Его привезли и уложили в постель, но Андрей Иванович не унимался.

– Вы меня пустите или нет? – яростно кричал он, сверкая глазами. – Всех вас, мерзавцев, в одной помойной яме надо утопить, – фараоны вы, мазурики, арапы!.. Подать мне сюда Семидалова, – я ему покажу! Това-арищи... Вы рабы, вы невольники против моих мнений... Тьфу-у!!!

Плачущая Александра Михайловна повязала его окровавленную голову полотенцем, но Андрей Иванович тотчас же сорвал повязку. Он бушевал долго; но понемногу стал ослабевать. Наконец, уткнувшись залитым кровью лицом в подушку, примолк и вскоре заснул.

Андрей Иванович проснулся к вечеру. Он хотел подняться и не мог: как будто его тело стало для него чужим и он потерял власть над ним. Александра Михайловна, взглянув на Андрея Ивановича, ахнула: его худое, с ввалившимися щеками лицо было теперь толсто и кругло, под глазами вздулись огромные водяные мешки, узкие щели глаз еле виднелись сквозь отекавшее лицо; дышал он тяжело и часто.

– Водка пеперментовая осталась у тебя? – хрипло спросил Андрей Иванович.

– Да.

– Дай-ка рюмочку! Да сходи принеси соленого огурчика.

Андрей Иванович отер мокрым полотенцем лицо, выпил, закусил соленым огурцом и молча повернулся к стене.

Всю ночь Андрей Иванович не спал. Он лежал и думал. Ему вспоминалась, как сквозь туман, схватка с Ляховым, и Андрей Иванович не мог простить своей глупости: Ляхов силен, как бык, он одною рукою может справиться с ним; следовало действовать совсем иначе – просто подойти к Ляхову и всадить ему в живот шерфовальный нож. Время еще не ушло. Андрей Иванович так и решил поступить. Вспомнил он безмерный ужас, в каком Ляхов побежал от него, и сладкая радость наполнила душу. О, недаром Ляхов боится его, – еще будет дело!

Но в теперешнем состоянии Андрей Иванович чувствовал себя ни на что не годным; при малейшем движении начинала кружиться голова, руки и ноги были словно набиты ватой, сердце билось в груди так резко, что тяжело было дышать. Не следует спешить; нужно сначала получше взяться за лечение и подправить себя, чтоб идти наверх.

Наутро Андрей Иванович объявил Александре Михайловне, что он решил лечь в больницу и лечиться как следует.

## XV

Был десятый час утра. Дул холодный, сырой ветер, тающий снег с шорохом падал на землю. Приемный покой Н-ской больницы был битком набит больными. Мокрые и иззябшие, они сидели на скамейках, стояли у стен; в большом камине пылал огонь, но было холодно от постоянно отворявшихся дверей. Служители в белых халатах подходили к вновь прибывшим больным и совали им под мышки градусники.

Александра Михайловна ввела под руку Андрея Ивановича; на скамейке у окна только что освободилось место. Андрей Иванович сел, Александра Михайловна осталась стоять. Андрей Иванович был в торжественном и решительном настроении; он был готов на все, чтоб только поправиться; так он и собирался сказать доктору: «Лечите меня, как хотите, что угодно делайте со мной, я все исполню, – только поставьте на ноги!»

Рядом с Андреем Ивановичем сидел бледный, осунувшийся старик в рваном полушубке. Дальше полулежал, облокотившись о ручку скамейки, мальчик лет двенадцати, с лихорадочно горящими, умными и печальными глазами; он был в пеньковых опорках и онучах, замотанных бечевками, в рваной и грязной кацавейке. Возле него стояла женщина средних лет с бойким, чернобровым лицом.

– Твой паренек? – обратился к ней старик.

– Нет, так, из жалости привезла его, – быстро ответила женщина, видимо не любившая молчать. – Иду по прищепехту, вижу – мальчонка на тумбе сидит и плачет. «Чего ты?» Тряпичник он, третий день болеет; стал хозяину говорить, тот его за волосы оттаскал и выгнал на работу. А где ему работать! Идти сил нету! Сидит и плачет; а на воле-то сиверко, снег идет, совсем заковенел... Что ж ему, пропадать, что ли?

Старик участливо спросил мальчика:

– Давно ли из деревни?

– Второй год, – сипло ответил мальчик.

– Матка, чай, в деревне есть?

– Есть.

Старик вздохнул.

– В другое бы мастерство нужно тебе! В тряпичниках чему хорошему научишься... Платит тебе что хозяин?

– Пятнадцать рублей в год.

Из приемной вынесли на носилках больного с повязанной головой. Служитель крикнул:

– Федор Гаврилов! К доктору!

Женщина засуетилась и пошла с мальчиком в приемную. Наружные двери то и дело хлопали. Входили новые больные. Старик чесал под полушубком грудь и вздыхал.

– И малому плохо, и старому плохо, – сказал он, обращаясь к Александре Михайловне. – Не дай бог болеть рабочему человеку!

Александра Михайловна посмотрела на его корявые трясущиеся руки.

– А ты что работаешь?

– Я-то? Да вот здоров был, дрова пилил в Смольный институт... А теперь какая работа? Нету сил, ослаб. От еды совсем отбило. Два раза в день укушу хлебца, и ладно. Главное дело – ослаб.

Доктор в золотых очках и белом халате, с сердитым лицом, прошел в приемную к телефону.

– Тррррр!.. – зазвенел звонок телефона. – Александровская больница? – спросил доктор в телефон. – Коллега, не можете ли вы принять к себе мальчика двенадцати лет с неопределенною формою тифа? У нас совершенно нет мест.

Доктор замолчал, слушая ответ.

– Пожалуйста, коллега, я вас прошу! – проговорил он раздраженно. – Ребенку решительно некуда деться, приходится выбрасывать на улицу. Может быть, как-нибудь отыщете местечко.

Он замолчал, слушая.

– Трр!.. Трр!.. – сердито зазвякал телефон, требуя разъединения. Доктор воротился в приемную. Через минуту из нее вышла женщина с мальчиком. Она кричала:

– Куда я его дену? Извините, пожалуйста, таких правил нету! Болен человек, – вы его обязаны принять.

– Ты, матушка, не шуми! – строго сказал служитель.

– Как же мне не шуметь, когда вы сурьезно поступаете!



Куда я с ним теперь? И так последний двугривенный на извозчика отдала.

– В другую больницу обратись.

– Ну, уж спасибо! Есть мне время! Делайте с ним, что хотите!

И она быстро направилась к дверям. Служители бросились за нею и удержали.

– Нет, матушка, погоди!.. Бери-ка мальчишку!

Женщина плакала, ругалась, грозила градоначальником, но в конце концов пришлось смириться. Мальчик стоял и безучастно глядел на бушевавшую за окнами мокрую выюгу.

– У-у, постылый! Связалась на свою погибель!

Женщина сердито взяла его за руку и вышла вон.

Старик, сосед Андрея Ивановича, тоже воротился из приемной. Он растерянно подошел к месту, где лежал его полушубок.

– Н-не знаю... – произнес он и замолчал.

Андрей Иванович мрачно спросил:

– Не приняли?

– Говорит: можешь на прием ходить. А то в другую больницу ступай... Уж не знаю...

– «В другую больницу»! – резко проговорил исхудалый водопроводчик с темным, желтушным лицом. – Вчера вот так посадили нас в Барачной больнице в карету, билетики дали, честь честью, повезли в Обуховскую. А там и глядеть не стали: вылезай из кареты, ступай, куда хочешь! Нету ме-

стов!.. На Троицкий мост вон большие миллионы находят денег, а рабочий человек издыхай на улице, как собака! На больницы денег нет у них!

Старик задумчиво стоял, поводил головою и вопросительно глядел на свой полушубок.

– Главное дело – ослаб, сил нетути. С квартиры гонют.

Он вздохнул, надел полушубок и вышел вон.

А новые больные все прибывали. Заразных сортировали и давали им отказные билетки в соответственные больницы, очень тяжелых, умиравших принимали, а всем остальным отказывали.

Позвали, наконец, Андрея Ивановича. Доктор, с усталым и раздраженным лицом, измученный бессмысленностью своей работы, выстукал его, выслушал и взялся за пульс. Андрей Иванович смотрел на доктора, готовый к бою: он заставит себя принять – он не женщина и не мужик и знает свои права. Больничный сбор взыскивают каждый год, а болен стал, – лечись, где хочешь?

Доктор долго щупал пульс Андрея Ивановича и в колебании глядел в окно. Пульс был очень малый и частый. Такие больные с водянкою опасны: откажешь, а он, не доехав до дому, умрет на извозчике; газеты поднимут шум, и могут выйти неприятности. Больница была переполнена, кровати стояли даже в коридорах, но волей-неволей приходилось принять Андрея Ивановича. Доктор написал листок, и Андрея Ивановича вывели.

– Не приняли? – упавшим голосом спросила Александра Михайловна.

Андрей Иванович с гордостью ответил:

– Приняли!

Окружающие с завистью покосились на него.

Андрея Ивановича отвели в ванную, а оттуда в палату. Большая палата была густо заставлена кроватями, и на всех лежали больные. Только одна, на которой ночью умер больной, была свободна; на нее и положили Андрея Ивановича. Сестра милосердия, в белом халате и белой косынке, поставила ему под мышку градусник.

Вскоре пришел на визитацию палатный доктор. Он вторично выстукал и выслушал Андрея Ивановича, велел оставить его мокроту для микроскопического исследования и назначил лечение. По уходе доктора Андрей Иванович внимательно прочел свой скорбный лист.

Вечером Андрею Ивановичу сделали ванну, и он почувствовал себя немного лучше. Тяжелые больные легковверны: незначительное улучшение в своем состоянии они готовы считать за начало выздоровления; Андрей Иванович решил, что недели через две-три поправится, и горько пожалел, что не лег в больницу раньше.

Ночь Андрей Иванович провел без сна и опять думал о Ляхове. Ляхов, конечно, очень скоро узнает, что Андрея Ивановича свезли в больницу. То-то он обрадуется, то-то спокойно вздохнет! Дескать, попал в больницу, так уж не во-

ротится. Только так ли это?... После пасхи Андрей Иванович выпишется из больницы здоровым и крепким; он войдет в мастерскую, подойдет к Ляхову: «Здравствуй, товарищ!..» Ляхов, услыша его голос, вскочит с тем же тупым ужасом, как и тогда, но уж бежать ему не придется: одним взмахом Андрей Иванович всадит ему в живот шерфовальный нож... Стиснув зубы, он делал под одеялом быстрое, короткое движение сжатым кулаком и представлял себе в кулаке острый, блестящий шерфовальный нож.

В палате, битком набитой больными, было душно, и стояла тяжелая вонь от газов, выделявшихся у спавших. Дежурная сиделка дремала у окна. Дряхлый старик лакей с отеком легких стонал грубыми, протяжными стонами, ночники тускло светились, все глядело мрачно и уныло. Но на душе у Андрея Ивановича было радостно.

## XVI

Назавтра после визитации доктора Андрей Иванович взял свой скорбный лист, чтобы посмотреть, что в него вписал доктор. Он прочел и побледнел; прочел второй раз, третий... В листке стояло: «Притупление тона и бронхиальное дыхание в верхней доле левого легкого; в обоих масса звучных влажных хрипов; в мокроте коховские палочки».

Андрей Иванович сразу страшно ослабел; изнутри головы что-то со звоном подступило к глазам и ушам; он опустил листок и закрыл глаза. «Коховские палочки»... Андрей Иванович прекрасно знал, что такое коховские палочки: это значит, что у него – чахотка; значит, спасения нет, и впереди смерть.

Принесли обед. Сиделка поставила Андрею Ивановичу миску с молочным супом.

– Обед принесен, эй! – сказала она и тронула его за рукав.

Андрей Иванович нетерпеливо повел головою и продолжал лежать, закрыв глаза. Коховские палочки... Всего два часа назад Андрей Иванович чувствовал себя в водовороте жизни, собирался бороться, мстить, радоваться победе... И вдруг все оборвалось и ушло куда-то далеко, а перед глазами было одно – смерть беспощадная и неотвратимая.

В два часа пришла на свидание Александра Михайловна. Андрей Иванович равнодушно объявил ей, что у него чахот-

ка и он скоро умрет. Александра Михайловна широко раскрыла глаза и быстро спросила:

– Как? Что? Доктор сказал?

Андрей Иванович усмехнулся.

– Что доктор! Я сам знаю!.. У меня коховские палочки нашли – червячков таких, от которых бывает чахотка.

Александра Михайловна заплакала. Андрей Иванович смотрел на нее, и ему стало жалко себя, и в то же время почему-то вспомнилось равнодушное, усталое лицо палатного доктора и тот равнодушный вид, с каким он записывал в листок его смертный приговор.

С каждым днем Андрей Иванович чувствовал себя хуже. Он стал очень молчалив и мрачен. На расспросы Александры Михайловны о здоровье Андрей Иванович отвечал неохотно и спешил перевести разговор на другое. То, что ему рассказывала Александра Михайловна, он слушал с плохо скрываемою скукою и раздражением. И часто Александра Михайловна замечала в его глазах тот угрюмый, злобный огонек, который появлялся у него в последние недели при упоминании о Ляхове.

Между тем к Ляхову Андрей Иванович относился теперь без прежней злобы. Когда Ермолаев пришел его проведать и сообщил, что Ляхов просит позволения посетить его, Андрей Иванович только пожал безглаголиво плечами и ответил, что если хочет, пусть приходит. Ляхов пришел раз и после этого стал ходить каждое воскресенье. Приходил он всегда

с кем-нибудь из товарищей, держался назади, сконфуженно теребил в руках шапку. Андрей Иванович, неестественно улыбаясь, разговаривал с ним, и обоим было неловко.

Не мысль об истории с Ляховым мучила Андрея Ивановича. Вся эта история казалась ему теперь бесконечно мелкою и пошлою, мстить он больше не хотел, и Ляхов возбуждал в нем только гадливое чувство. Андрей Иванович страдал гораздо сильнее прежнего, он страдал совсем от другого – от нахлынувших на него трезвых дум.

О, эти трезвые думы!.. Андрей Иванович всегда боялся их. Холодные, цепкие и беспощадные, они захватывали его и тащили в темные закоулки, из которых не было выхода. Думать Андрей Иванович любил только во хмелю. Тогда мысли текли легко и плавно, все вокруг казалось простым, радостным и понятным. Но теперь дум нельзя было утопить ни в вине, ни в работе; а между тем эта смерть, так глупо и неожиданно представшая перед Андреем Ивановичем, поставила в нем все вверх дном.

И думы ползли одна за другою, злые и безотрадные, и Андрей Иванович не мог их отогнать... Прожил он сорок лет и все бессознательно ждал чего-то. Эта чадная, тошнотная жизнь не могла тянуться вечно. Он ждал – вот явится что-то, что высоко поднимет его над этой жизнью, придет большое счастье, в котором будет кипучая жизнь, и борьба, и простор. А между тем всему конец, впереди – одна смерть, а назади – жизнь дикая и пьяная, в которой настоящую радость, насто-

ящее счастье давала только водка. Как он пил! И как все они пили! Когда не хватало денег на водку, они пили в мастерской спиртный лак. Чтоб уберечь лак, хозяин прибавлял в него анилиновой синьки, но они пили и с синькою, были готовы пить с чем угодно. Они калечили и отравляли свое тело, отравляли душу, и все шло к черту. А как было иначе жить? На что было беречь душу? На то, чтобы ходить на народные гулянья, пить там чай и качаться на качелях? Эка радость!..

Андрею Ивановичу вспомнился Барсуков и та картина смерти, о которой он рассказывал; умирает рабочий и думает: «Для чего он все время трудился, выбивался из сил, – для чего он жил? Он жил, а жизни не видел... Какая же была цель его существования?»

И он тоже, Андрей Иванович, – он жил, а жизни не видел. А между тем, ему казалось, он способен был бы жить – жить широкою, сильною жизнью, полною смысла и радости; казалось, для этого у него были и силы душевные, и огонь. И ему страстно хотелось увидеть Барсукова или Щепотьева, поговорить с ними долго и серьезно, обсудить все «до самых основных мотивов». Но Щепотьев сидел в тюрьме, Барсуков был выслан из Петербурга.

Александра Михайловна посещала Андрея Ивановича каждый день. Она приносила ему вина, фруктов, всего, чем пытался Андрей Иванович разжечь свой пропавший аппетит. Занятый своими мыслями, Андрей Иванович не задавался вопросом, как она все это достает. Он привередни-



чал, сердился, требовал то того, то другого. Но однажды, когда Александра Михайловна, входя в палату, остановилась у дверей и вступила в разговор с сестрою милосердия, Андрей Иванович, глядя издали на жену, был поражен, до чего она похудела и осунулась.

– Ты все еще на фабрике работаешь? – спросил Андрей Иванович, когда она поставила на стол бутылку елисеевского лафита. И горячая нежность шевельнулась в его душе.

– Пока на фабрике, – устало ответила Александра Михайловна. – Уж не знаю, нужно будет чего другого поискать. Работаешь, а все без толку... Семидалов к себе зовет, в фальцовщицы. Говорит, всегда даст мне место за то, что ты у него в работе потерял здоровье. Научиться можно в два месяца фальцевать; все-таки больше зарабатываешь, чем на пачках.

Андрей Иванович ужаснулся. Условия жизни и работы фальцовщиц были ему слишком хорошо известны. Все остальное свидание он был молчалив и задумчив.

Когда Александра Михайловна пришла на следующий день, Андрей Иванович долго молчал, не в силах заговорить от охватившего его волнения. Наконец, сказал:

– Знаешь, Шурочка... Я всю ночь про тебя думал... Я много с тобою поступал неправильно... Как я тебе теперь помогу? Я не знаю, что тебе делать. Только один мой завет тебе – не поступай к нам в мастерскую: там гибель для женщины...

– Что же делать?

Андрей Иванович в тоске потер руки.

– Что? Я не знаю...

В конце апреля Андрей Иванович умер. Хоронили его на Смоленском кладбище. Было воскресенье. Большинство товарищей присутствовали на похоронах, в их числе Ляхов. Они на руках донесли гроб Андрея Ивановича до могилы. Тут же, на свеженасыпанной могиле, Александра Михайловна поставила четверть водки и справлены были поминки.

Похоронили Андрея Ивановича на самом конце кладбища, в одном из последних разрядов. Был хмурый весенний день. В колеях дорог стояла вода, по откосам белел хрящеватый снег, покрытый грязным налетом, деревья были голы, мокрая буро-желтая трава покрывала склоны могил, в проходах гнили прошлогодние листья.

Но не смертью и не унынием дышала природа. От земли шел теплый, мягкий, живой запах. Сквозь гниющие коричневые листья пробивались ярко-зеленые стрелки, почки на деревьях наливались. В чаще весело стрекотали дрозды и воробьи. Везде кругом все двигалось, шуршало, и тихий воздух был полон этим смутным шорохом пробуждавшейся молодой, бодрой жизни.

## II. Конец Александры Михайловны (Честным путем)

### I

Александра Михайловна кончила фальцевать листы «Петербургского вестника». Она сравняла с боков стопку сфальцованных листов и устало облокотилась об нее.

За соседним верстаком Грунька Полякова, крупная девушка с пунцовыми губами и низким лбом, шила дефектные книги. Она не торопясь шила и посвистывала сквозь зубы, как будто не работала, а только старалась чем-нибудь убить время: за шитье дефектных книг платят не сдельно, а поденно. Александра Михайловна искоса следила за Поляковой.

– Что это, какая вам всегда легкая работа! – не вытерпела она.

Полякова медленно повернула голову и небрежно оглядела Александру Михайловну.

– Я больная, у меня ревматизм в руках.

– Больная... – Александра Михайловна помолчала. – Вы, может быть, больная, зато вы есть одна. А у других, может, ребенок есть, его надо поить-кормить.

– Как кому судьба.

– И вовсе судьба тут ни при чем. Дело тут от мастера зависит, а не от судьбы.

– От мастера? Что-о вы?... От какого-такого мастера?

Полякова нарочно повысила голос. Мимо как раз проходил мастер Василий Матвеев. Он услышал вопрос Поляковой и внимательно покосился на них. Александра Михайловна поспешно отошла прочь.

На круглых часах над дверью мастерской пробило четыре. У бокового окна работала за верстаком приятельница Александры Михайловны, Таня Капитанова. Солнце светило в окно, Таня непрерывно наклонялась и выпрямлялась. Когда она наклонялась, ее голова с пушистыми золотыми волосами попадала в полосу света и как будто вся вспыхивала сиянием.

Александра Михайловна подошла и сказала:

– Пора чай пить.

– Сейчас кончу! – торопливо ответила Таня.

Устало понурившись, Александра Михайловна с удовольствием и завистью смотрела на ее работу. Таня была лучшей работницей мастерской. Захватив со стопки большой печатный лист, она сгибала его на папке, с неуловимой быстротой взглянув на номера, и проводила по сгибу костяшкой. Лист как будто сам собою сгибался, как только его касались тонкие пальцы Тани. При втором сгибе мелькал столбец цифр, при третьем – какая-то картинка, сложенный лист летел влево, а в это время со стопки уже скользил на папку новый.

Таня сбросила с папки последний сфальцованный лист.

– Ну, пойдёмте!

– Счастливая ты, Таня! – вздохнула Александра Михайловна.

В работе наступил перерыв. Девушки сидели кучками по четыре-пять человек и пили чай. В раскрытые окна несло жаром июньского дня, запахом извести и масляной краски.

Александра Михайловна и Таня пили чай вместе с двумя другими работницами – вдовой переплетного подмастерья Фокиной и бедной пожилой девушкой Дарьей Петровной. Александра Михайловна, сгорбившись, сидела на табуретке, испытывая приятное ощущение отдыха. Она уж третий месяц работала в мастерской, но все еще при каждом перерыве ей хотелось отдыхать долго-долго, без конца.

– Что за история такая! – задумчиво сказала она. – Все мне Васька Матвеев трудную работу дает. Напоила его кофеем, угостила, – думала, легче станет. Неделю давал шитье в прорезку, фальцовку на угол, а потом опять пошло по-старому.

Фокина усмехнулась.

– А вы как же думали? Вы думали, угостили раз, и готово дело! У него положение: поставишь угощение, – будет тебе хорошая работа на неделю.

– Вот так-так! – Александра Михайловна скорбно задумалась. – Что же это такое? Четыре человека их, мастеров. Вишневка, кофей, пирожки – рубль шестьдесят семь копе-

ек мне обошлось. Четверть фунта кофею выпили, два фунта сахару съели, что съели, что по карманам себе напихали... Неужто мало им?

– А вы их одна, что ли, угощаете? – желчно возразила Фокина. – Раз-то, другой, всякая угостит; кому же они трудную работу будут давать?

– Так ведь, господа, я не о том, что трудная! Пускай и трудную работу дают, а чтоб только правильно делали, не обижали людей.

Таня гордо сказала:

– А я вот никого ни разу не угощала! И не стану угощать, без них справлюсь.

– А я тебе, Танечка, вот что скажу, – медленно произнесла Дарья Петровна, – не гордись! Погордишься, милая, погордишься, а потом пожалеешь. Разорение тебе какое, что ли, мастера уважить? А сила у него большая.

– Как же это мне быть теперь? – в печальном недоумении спросила Александра Михайловна, – девять-десять рублей заработаешь в месяц, что же это? Разве на такие деньги проживешь с ребенком?

– Вы вот что: попросите себе у Василия Матвеева приклейку, – посоветовала Дарья Петровна. – Вы уж третий месяц работаете, – вам давно пора приклейку давать. А это работа выгодная. Вон-он Федька идет, может, он знает, спросите, есть ли сейчас приклейка.

У Дарьи Петровны было смиренное, желто-бледное лицо,

и она с ненужною угодливостью заглядывала в глаза тому, с кем говорила.

Александра Михайловна остановила проходившего брошюранта и ласково спросила:

– Не знаешь, Федя, есть сейчас у мастера приклейка?

– Сколько угодно! «Русская поэзия», с портретами. Десять тысяч экземпляров.

В дверь заглянул из коридора переплетный подмастерье Ляхов. Он быстро вошел в комнату, схватил Федьку за плечо и грозно спросил:

– Тебе чего тут нужно?

– Чего... А вам чего? – с недоумением пробормотал Федька.

Ляхов поднес к его носу крепкий кулак.

– Я тебе, негодяй, все зубы твои повыбью!.. Пошел прочь, не смей с Александрой Михайловной разговаривать!

– Эге! – Федька весело усмехнулся и, подняв брови, с любопытством метнул взгляд на Александру Михайловну.

– Господи, что же это такое! – воскликнула Александра Михайловна. – Василий Васильевич, вы с ума сошли, что ли?

– Я никакому мужчине не позволю говорить с Александрой Михайловной! Еще раз увижу тебя – изувечу! – крикнул Ляхов и свирепо выкатил глаза.

– Да что же это, господи! Василий Васильевич, я к хозяину пойду! Как вы смеете меня позорить?

– Так вот, помни!

Ляхов еще раз выразительно потряс кулаком перед носом пятившегося Федьки и, не глядя на Александру Михайловну, вышел.

Улыбавшийся Федька в юмористическом ужасе продолжал пятиться к верстакам.

Александра Михайловна сидела красная и сконфуженная.

– Ну что же это такое, скажите, пожалуйста! Вот уж второй месяц не дает мне покою. Пристает везде, позорит, просто проходу никакого нету!.. И чего он ко мне привязался!

– Везде только про вас и говорит, такой бесстыдник! – сочувственно негодуяще сказала Дарья Петровна. – Влюблен, говорит, не могу жить без нее. Это женатый-то человек! Такой стыд!

– Намедни пришел к нам, – усмехнулась Фокина, – рассказывает про свою любовь, плачет, – спьяну, конечно. Если, говорит, Александра Михайловна меня не удовлетворит, я, говорит, как только листья осыпятся, повешусь в Петровском парке. «Чего же, – я говорю, – ждать. Это и теперь можно». – «Нет, говорит, когда листья осыпятся».

– А еще был друг покойнику Андрею Ивановичу! – укоризненно вздохнула Александра Михайловна, и чуть заметная самодовольная улыбка пробежала по ее губам.

Девушки кончили пить чай и принимались за работу. В огромной живой машине начинали шевелиться ее части, и вскоре она пошла в ход быстрым, ровным темпом.

Александра Михайловна вошла в комнату мастера. Ва-



Василий Матвеев, высокий, грузный мужчина с мясистым лицом, наклонясь над верстаком, накалывал листы. Он оглядел Александру Михайловну своими косящими глазами и молча продолжал работать.

Александра Михайловна сказала:

– Василий Матвеев! Я работу кончила, дай мне приклейку!

Мастер продолжал молча накалывать.

– Василий Матвеев!

– Да подожди ты, видишь, занят я! – грубо огрызнулся он.

Александра Михайловна, стиснув зубы, смотрела на его красное, потное лицо. Три недели назад Василий Матвеев ущипнул ее в руку около плеча, и она сурово оттолкнула его. «Ишь, недотрога какая выискалась!» – ядовито заметил он и с тех пор стал во всем теснить. Только ту неделю, когда Александра Михайловна напоила его кофеем, он был немножко ласковее.

Василий Матвеев, не спеша, продолжал работать, Александра Михайловна сердито спросила:

– Скоро, что ли? Мне нет времени ждать.

– Приклейку, – проворчал мастер. – Тебе рано приклейку, напортишь.

– Нет, не рано. Приклейка через полтора месяца полагается, а я уж третий месяц работаю.

– Приклейку... Мастеру уважения не доказываешь, а тоже, приклейку ей давай... Что нынче с Грунькой говорила?

– Да что, Василий Матвеев, разве не правду я сказала? Одним все легкую работу даете, другим все трудную. А ведь жить-то всем нужно.

– Нет сейчас приклейки, ступай! – оборвал Василий Матвеев.

Левая щека Александры Михайловны задергалась.

– Нет, есть приклейка, я знаю: «Русская поэзия»... Я к хозяину пойду.

Мастер молчал. Александра Михайловна решительно пошла к выходу.

– Там, в углу, – буркнул Василий Матвеев.

Она воротилась.

– Это вот?... Какую картину взять?

– Пушкина портрет. Тысячу возьми, не больше.

– На какую страницу приклеивать?

– Да отстань ты, пожалуйста, не мешай!.. Пятьдесят шестая страница.

Александра Михайловна вышла. Внутри у нее кипело от злобы: десять минут ушло на переговоры, а он отлично знает, как дорого время при сдельной работе. Но ей было приятно, что она все-таки добилась своего. Александра Михайловна распустила пачку портретов, смазала их клеем и принялась за работу.

Кругом стоял непрерывный шелест от сворачиваемых листов. Слышно было, как под полом стучал в переплетном отделении газомотор.

– Ишь ведьма-то наша уезжать собирается! – сказала рядом Манька, бойкая девочка лет шестнадцати.

Гавриловна, худая старуха в грязной, отрепанной юбке, стояла у печки и с серьезным лицом стучала в нее костяшкой.

– Стучит, чтоб помело подавали! – засмеялась другая девочка, Дунька.

– Тара-та-там! Тара-та-там!.. Тара-та-та-та-там! – хрипло напевала полоумная Гавриловна, нелепо изогнув руки, и кружилась около печки на одном месте.

Манька спросила:

– Ты чего, тетенька, вертишься?

– Я, милая, молода была, много польку танцевала, все в одну сторону. Теперь раскручиваюсь... Тара-та-там! Тара-та-там!..

– Что это за безобразие! – сердито крикнула Фокина. – Работать мешает... Иди на место, слышишь ты!

– И вправду, что это! – сказала Александра Михайловна. – Работать нужно, а она развлекает. Ведь нельзя же, люди делом заняты!

Гавриловна молча стала к станку, поклонилась в пояс стопке листов и принялась фальцевать. Минуты две она молча работала, потом вдруг повернулась к Фокиной и громко крикнула:

– Черт тебя зашиби большим камнем! Белуга астраханская!

Девочки прыснули.

– Провались ты провалом, лопни твой живот! Чтоб к тебе ночью домовой на постель влез!

– Хо-хо-хо! – засмеялись брошюранты.

Брошюрант Егорка крикнул:

– К ней самой, братцы, он каждую ночь лазает!

Гавриловна обрушилась бранью на него. Брошюранты смеялись и изощрялись в ругательствах, поддразнивая Гавриловну. На каждую их сальность она отвечала еще большею сальностью. Это было состязание, и каждая сторона старалась превзойти другую. Девочки, радуясь перерыву в работе, слушали и смеялись.

К вечеру Александра Михайловна вклеила картины. Она сделала работу в два часа, за тысячу приклеек двадцать копеек – хорошо!.. Довольная, она понесла работу к мастеру.

Василий Матвеев раскрыл книжку, посмотрел и равнодушно сказал:

– Не на то место приклеила.

Александра Михайловна испуганно глядела на него.

– Как не на то? Ты же мне сам сказал, – на пятьдесят шестую страницу!

– Куда лицом вклеила, видишь? Я тебе говорил, что ты этого еще не можешь. «От Пушкина до Некрасова» – на эту сторону нужно было, к заглавию.

И он насмешливо смотрел косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. И Александре Михайловне ка-

залось, – он потому и может быть так жесток, что его душа загорожена от людских глаз.

– Так ты бы мне так и сказал – к пятьдесят седьмой странице! – произнесла она обрывающимся голосом.

– Ну, ну, что я, глупее тебя, что ли? Говорил, нельзя тебе еще приклейку давать... Ступай, отклеивай.

Александра Михайловна, убитая, воротилась к верстаку; хотелось схватить, порвать всю работу, душили бессильные слезы: полдня уйдет на то, чтоб аккуратно отклеить картины и снова вклеить их на место.

Она вяло взяла в руки нож и принялась за отклейку.

## II

Пробило восемь часов, мастерскую отперли. Александра Михайловна сунула опостылевшую работу под верстак и побрела домой.

Зина, семилетняя дочь Александры Михайловны, дремала на кровати.

– Вставай! – угрюмо сказала Александра Михайловна. – Картошку разогрела?

– Разогрела.

– Принеси.

Зина принесла из кухни разогретый жареный картофель, оставшийся от обеда. Придвинули столик к кровати, стали ужинать. Поели невкусного разогретого картофеля, потом стали пить чай. Зине Александра Михайловна намазывала на хлеб тонкий слой масла, сама ела хлеб без масла.

– Что это? – сурово спросила Александра Михайловна и взяла Зину за локоть. – Что это? Господи! Где это ты порвала?

Она дернула Зину к себе. Весь рукав ее платица до самого плеча был разодран.

– Да что же это такое! Что ты, с собаками, что ли, грызлась?

Зина захныкала.

– Это мне Васька хозяйкин сделал!

– Васька хозяйкин? Ты тут балуешься, а я всю ночь сиди, рукав тебе зашивай?

Она схватила Зину за волосы и дернула. Зина отчаянно взвизгнула. Александра Михайловна трясла и таскала ее за волосы, а другою рукою изо всех сил била по платью и с радостью ощущала, что Зине, правда, больно, что ее тело вздрагивает и изгибается от боли.

– Ой! Ой!.. Мама!.. Мама!.. Ой!.. – испуганно выкрикивала Зина.

Александра Михайловна еще раз больно дернула ее за волосы и отпустила. Зина залилась плачем.

– Что? Будешь теперь помнить?

В комнату сходились жильцы. Девушка-папиросница, нанимавшая от хозяйки кровать пополам с Александрой Михайловной, присела к столу и хлебала из горшочка разогретые щи. Жена тряпичника, худая, с бегающими, горящими глазами, расстилала на полу войлок для ребят. Старик-кочегар сидел на своей койке и маслянисто-черными руками прикладывал к слезящимся глазам примочку.

Александра Михайловна злорадно говорила:

– Ты думала, помер отец, так на тебя и управы не будет? Мама, дескать, добрая, она пожалеет... Нет, милая, я тебя тоже сумею укротить, ты у меня будешь знать! Ты бегаешь, балуешься, а мама твоя с утра до вечера работает; придет домой, хочется отдохнуть, а нет: сиди, платью тебе чини. Вот порви еще раз, ей-богу, не стану зашивать! Ходи голая, пус-

кай все смотрят. Что это, скажут, какая бесстыдница идет!..

Зина ныла и ела хлеб с маслом.

Пужинали скоро. Все укладывались спать. Из соседних комнат сквозь тонкие переборки доносился говор, слышалось звяканье посуды, громкая зевота. Папиросница разделась за занавескою и легла на постель к стене. Зина вытащила из-под кровати тюфячок, расстелила его у столика и, свернувшись клубком, заснула. Улеглись и все остальные. Александра Михайловна угрюмо придвинула лампочку и стала зашивать разодранный рукав Зинина платья.

На душе было мрачно. Она шила и думала, и от всего, о чем думала, на душе становилось еще мрачнее. Шить ей было трудно: руки одеревенели от работы, глаза болели от постоянного вглядывания в номера страниц при фальцовке; по черному она ничего не видела, нитку ей вдела Зина. Это в двадцать-то шесть лет! Что же будет дальше?... И голова постоянно кружится, и в сердце болит, по утрам тяжелая, мутная тошнота...

В ушах все слышался шелест сворачиваемых листов и мерный стук газомотора под полом. Мысль обращалась на мастерскую, и Александре Михайловне представлялось, как все там быстро движется, торопится, старается, а над этой суетой тяжело лежит что-то холодно-жадное и равнодушное, и только оно одно имеет пользу от этой суеты; а что от нее им всем? Стараешься, выбиваешься из сил, а должнаешь все больше, живешь, как нищая, совестно пройти мимо мелоч-



ной лавки, питаться приходится одною картошкой. И для чего тогда вся работа, все унижения, волнения? А уйти некуда. И дальше впереди будет то же. Попала она в темную яму, и нет из нее выхода. Нет и друзей, которые бы протянули руку.

Встало перед Александрой Михайловной конфузливое, белесое лицо эстонца-слесаря Лестмана. Он был друг покойного Андрея Ивановича и первое время поддерживал ее деньгами. Но три недели назад Лестман неожиданно сделал ей предложение выйти за него замуж; Александра Михайловна отказала сразу, решительно, с неожиданною для нее самой быстротой; как будто тело ее вдруг возмутилось и, не дожидаясь ума, поспешно ответило: «Нет! нет!» До тех пор она словно не замечала, что этот участливый, тускло-серый человек – мужчина, но когда он заговорил о любви, он вдруг стал ей противно-чужд. Лестман перестал помогать Александре Михайловне, но каждую неделю, в субботу или воскресенье, приходил к ней и – скромный, застенчивый – сидел, пил чай и скучно разговаривал. Глаза его как будто закрылись и он перестал замечать ее нищету. И Александре Михайловне было странно, как это она раньше принимала от него деньги и не понимала, что ни с того ни с сего никто не станет давать их.

Кругом дышали, храпели и бормотали во сне люди. Комната медленно наполнялась удушливою, прелюю вонью. Лампочка с надтреснутым стеклом тускло светила на наклоненную голову Александры Михайловны. За последние месяцы,

после смерти Андрея Ивановича, она сильно похудела и похорошела: исчезла распиравшая ее полнота, на детски-чистый лоб легла дума, лицо стало одухотворенным и серьезным.

Она шила, и мрачная тоска все тяжелее налегала на душу. Напрасно она старалась найти что-нибудь, от чего бы встрепенулась душа и с ожиданием взглянула вперед. На что ни наталкивались мысли, все было черно и безнадежно... Завтра получка. Что ей придется получить? Рублей пять за две недели. Видно, нет другого выхода: придется смириться перед мастером, пойти на уступки; нужно будет почаще угощать его, чтоб давал работу получше... Негодяй подлый! Она со злобою вспомнила, как он насмешливо смотрел на нее косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. Знает свою силу!.. И от полученной обиды снова заныло в душе.

Александра Михайловна стала раздеваться. Еще сильнее пахло удушливою вонью, от нее мутилось в голове. Александра Михайловна отвернула одеяло, осторожно сдвинула к стене вытянувшуюся ногу папиросницы и легла. Она лежала и с тоскою чувствовала, что долго не заснет. От папиросницы пахло селедкой и застарелым, грязным потом; по зудящему телу ползали клопы, и в смутной полудремоте Александре Михайловне казалось – кто-то тяжелый, липкий наваливается на нее, и давит грудь, и дышит в рот спертою вонью.

### III

На следующий день после обеда Александра Михайловна, в накинута на плечи большом платке, вошла в комнату мастера и приперла за собою дверь. Василий Матвеев, с деревянным лицом, молча следил за нею.

Александра Михайловна весело и приветливо заговорила:

– Вот, Василий Матвеев, у меня сегодня большой праздник, хочу тебя угостить!

Она достала из-под платка полубутылку портвейна и завернутые в бумагу пять кондитерских пирожных.

Лицо Василия Матвеева смягчилось.

– Хорошее дело, хорошее дело! Не забываешь мастера. Другой раз и он тебе может пригодиться.

Он встал, покосился на припертую дверь и вдруг быстро наклонил к Александре Михайловне лицо с забежавшими глазами.

– Приходи нынче после работы, вместе винцо разопьем.

И Александра Михайловна почувствовала, как его жирная рука взяла ее под грудь.

– Ах ты, негодяй! – Она изо всей силы ударила его по руке. – Подлец ты этакий, как ты смеешь?!

Василий Матвеев отшатнулся.

– Что такое? В чем дело? – невинно и громко спросил он. – Что тебе нужно?

Звонящим от слез голосом Александра Михайловна кричала:

– Я честная женщина, а ты смеешь меня за перед хватать?

В косых глазах Матвеева еще бегал блудливый огонек, но лицо уже было сурово и холодно.

– Ты что, что ты тут скандалишь? – повысил он голос, наступая на Александру Михайловну. – Что это ты такое принесла мне? Ступай вон!

– Негодяй! Подлец! – Александра Михайловна вышла из комнаты.

Красная, с блестящими глазами, она быстро подошла к верстаку, спрятала бутылку и остановилась, неподвижно глядя на свою работу.

– Что это у вас там было? Чего это он? – с жадным любопытством спрашивала Манька.

– Не твое дело! – резко ответила Александра Михайловна, не поворачивая головы. Она кусала губы, чтоб сделать себе больно и не дать прорваться рыданиям.

Кругом стоял непрерывный шорох сворачиваемых листов, работа кипела, молчаливая и напряженная. С разбросанных по верстаку портретов смотрели курчавые Пушкины, все в пледах и с скрещенными руками, все с желчными, безучастными к происшедшему лицами.

– У-у, милая моя! – раздалось в стороне.

Гавриловна приплясывала перед верстаком и горячо прижимала к груди только что сшитую большую веленевую кни-

гу; потом она положила ее на четыре других, уже сшитых книги, отодвинула пачку и низко, в пояс, поклонилась ей и что-то бормотала.

В мастерскую, в сопровождении Василия Матвеева, вошел хозяин Виктор Николаевич Семидалов. Девушки оставили работу и с любопытством следили за ним: было большою редкостью, когда хозяин заглядывал в брошировочную.

Оба прошли прямо к верстаку Александры Михайловны. Василий Матвеев разводил руками и говорил:

– Невозможно, Виктор Николаевич, углядеть! Такой народ, просто наказание! Вот, извольте сами посмотреть!

Он полез под верстак и вытащил вино.

– Извольте видеть?

Хозяин, мрачный, как туча, смотрел на Александру Михайловну.

– Скажите, пожалуйста, вы не знали, что спиртные напитки запрещается вносить сюда? Я принял вас в память вашего мужа, помогал вам, но это вовсе не значит, что вы у меня в мастерской можете делать, что, вам угодно.

Александра Михайловна, бледная, с сжатыми губами, молчала, опустив глаза.

– Я и не знал, что вы выпиваете! – с усмешкою прибавил хозяин. – Да еще какие напитки дорогие – портвейн! А я думал, вы нуждаетесь... Слушайте: в первый и последний раз я вас прощаю, но смотрите, если это повторится еще раз!

Он пренебрежительно оглядел ее и вышел. Прислонив-

шлись к соседнему верстаку, стоял вихрастый, курносый мастер над девушками переплетного отделения, Сугробов.

– Ты давно тут работаешь? – спросил он, когда хозяин и Матвеев вышли.

– Третий месяц, – машинально ответила Александра Михайловна.

– Ну, не выдержать тебе, – с состраданием произнес он. – Беги лучше прочь, погубишь себя!

И он пошел к себе вниз; Александра Михайловна неподвижно стояла перед верстаком. Подошли Дарья Петровна и Фокина. Дарья Петровна спросила:

– Что это он на вас? Ведь вино-то вы ему купили. Что такое случилось?

– Так... Все равно...

– Мало, что ли, показалось ему?

Фокина испытующе взглянула на Александру Михайловну и усмехнулась.

– От такой красивенькой дамочки ему не портвейна нужно.

Дарья Петровна высоко подняла брови и украдкой бросила на Александру Михайловну быстрый взгляд.

– Вот мерзавец! – сочувственно вздохнула она.

У Александры Михайловны запрыгали губы.

– Уйду я отсюда!

Дарья Петровна помолчала.

– Куда уйти-то? Вы думаете, лучше у других? А я вам ска-

жу, может, еще хуже. Тут хоть хозяин добрый, не гонится за этим, а вон у Коникова, – там прямо иди к нему девушка в кабинет.

– Какого Коникова? Конюхов фамилия его, – поправила Фокина. – На пятнадцатой линии.

– Ай Конюхов? Ну, Конюхов, что ли.

Дарья Петровна опять помолчала, взглянула на Александру Михайловну и еще раз сочувственно вздохнула.

Александра Михайловна со странным чувством слушала их. То, что случилось, было неслыханно возмутительно. Все глаза должны были загореться, все души вспыхнуть негодованием. Между тем сочувствие было вялое, почти деланое, и от него было противно.

Она возвращалась домой глубоко одинокая. Была суббота. Фальцовщицы и подмастерья, с получкою в кармане, весело и торопливо расходились от ворот в разные стороны. Девушек поджидали у ворот кавалеры – писаря, литографы, наборщики. У всех были чуждые лица, все были заняты только собою, и Александре Михайловне казалось, – лица эти так же мало способны осветиться сочувствием к чужой беде, как безучастные лица бумажных Пушкиных.

Громко и весело разговаривая, Александру Михайловну обогнала кучка девочек-подростков. Впереди, с лихим лицом, шла Манька. Под накинутым на плечи платком гибко колебался ее тонкий полудетский стан. У панели, рядом с ломовыми дрогами, на кучке старых рельсов спал ломовик.

Манька громко крикнула:

– Дядя, зачем спишь?!

Девочки расхохотались.

Ломовик поднял взлохмаченную голову, молча поглядел девушке вслед и снова опустил голову на рельсы.

– Вот бы ему бабу здоровую подложить под бок, было бы ему тепло! – говорила Манька, быстро идя дальше. – Аа-чхи!! – вдруг громко сделала она, как будто чихая, в лицо двум стоящим у панели парням.

Парни пустили ей вслед сальную остроту. Девочки со смехом свернули за угол.

«Какая все помойная яма!» – с тупым отвращением думала Александра Михайловна. И она вспомнила, как хорошо и чисто жилось ей, когда был жив Андрей Иванович.

Спускались белые сумерки. У ренского погреба, кого-то поджидая, стояла Таня, оживленная и веселая, со своими золотящимися, пушистыми волосами. Из погреба вышел красивый, статный гвардейский матрос. Таня взяла его под руку.

– Вот что: килек не надо, будет селедка. Лучше винограду купим.

Моряк поклонился Александре Михайловне. Это был жених Тани, Журавлев. Они пошли под руку через улицу к колониальному магазину. Александра Михайловна смотрела вслед, смотрела, как они тесно прижимались друг к другу, и еще сильнее чувствовала свое одиночество.



## IV

Назавтра, в воскресенье, Александра Михайловна лежала под вечер на кровати. Ей теперь вообще хотелось много лежать, а вчера она к тому же заснула, когда уже рассвело; в соседней комнате пьяные водопроводчики подрались с сапожником, били его долго и жестоко; залитого кровью, с мотающейся, бесчувственной головою, сапожника свезли в больницу, а водопроводчиков отвели в участок. Потом воротился домой тряпичник, тоже пьяный, и стал бить свою жену; она ругалась и как будто нарочно задирала его, а он бил ее еще жесточе.

В комнате никого не было. Взрослые разошлись, дети играли на дворе.

Громкий голос спросил в коридоре:

– Здесь Колосова живет, Александра Михайловна?... Эй, есть кто тут?

Александра Михайловна поспешно поднялась с постели, застегивая на груди кофточку. В комнату вошел Ляхов, с тросточкой в руке.

– Здравствуйте!.. Вот так квартира – нигде никого нет!

Александра Михайловна холодно ответила:

– Здравствуйте!

– Моя жена не у вас?

– Нет тут вашей жены.

– Нету... Гм!

Ляхов сел на качавшийся стул и, играя тросточкою, внимательно оглядывал обстановку.

– Ваш покойный муж был глуп, – неожиданно сказал он. Александра Михайловна заволновалась.

– Василий Васильевич, если по-хорошему пришли, то так, а нет, то лучше ступайте отсюда!

– Он был глуп. Он вас не умел ценить. Если бы он был немножко поумнее, он бы вас холил, на руках носил бы. Он бы понимал, какая у него хорошая жена. А он вас только обижал.

Ляхов странными, что-то таящими в себе глазами оглядывал Александру Михайловну, и она, волнуясь, сама того не замечая, оправляла юбку и нащупывала пальцами, все ли пуговицы застегнуты на груди.

– Бросьте мастерскую, приходите ко мне жить, – продолжал Ляхов и придвинулся со стулом к кровати. – Я вам буду платить каждый месяц тридцать два рубля. Катьку прогоню, дам ей отдельный паспорт. Я без вас не могу жить.

Александра Михайловна, все больше волнуясь, встала и подошла к окну.

– Я не понимаю, Василий Васильевич, как вам не стыдно это говорить! Ведь вы были друг Андрею Ивановичу, он вас любил...

– Он был подлец, завистник! Он меня нарочно перед смертью женил на Катьке, по злобе, чтоб вы мне не доста-

лись.

Александра Михайловна засмеялась.

– Неужели? Скажите, пожалуйста!.. Мы ее, кажется, напротив, – отговаривали идти за вас.

– Я для того только и в больницу ходил к Колосову, чтоб посмотреть, скоро ли он сдохнет, – вызывающе сказал Ляхов.

– Василий Васильевич, уходите отсюда вон. Я вас не желаю слушать!

– Зачем вы к окну ушли?

Ляхов тяжело дышал, с тем же странным, готовящимся к чему-то лицом. Он встал и подошел. От него пахло коньяком. Александра Михайловна старалась подавить вдруг охватившую ее дрожь. Ляхов, бледный и насторожившийся, с бегающими глазами, стоял, загораживая ей дорогу от окна. Задышавшись, она поспешно заговорила:

– Василий Васильевич, что же это будет? Раньше в мастерской и на улице не давали мне проходу, а теперь уж на квартиру ко мне приходите? Сами подумайте, разве же так можно!

– Я вам сказал, что я вас люблю. А что раз сказал, от того уж никогда не отступлюсь. Все равно, вы мне достанетесь, покою вам не будет... Я своего добьюсь...

Ляхов теперь тоже задышался. Крепкий, с мускулистым затылком, он смотрел в лицо Александре Михайловне замутившимися, тупо-беспощадными, как у зверя, глазами. И

Александра Михайловна поняла, – от этой животной, жестокой силы ей не защититься ни убеждениями, ни мольбами.

В дверях показался высокий, широкоплечий Лестман. Он снял с головы котелок и застенчиво приглаживал ладонью белесые волосы.

– Иван Карлыч, здравствуйте! – громко сказала Александра Михайловна и с неестественным оживлением пошла к нему навстречу мимо Ляхова.

Ляхов обернулся. Глаза его насмешливо вспыхнули.

– А-а, явленные мощи! Что так долго не являлись? Тебя уж тут заждались. С утра ждут, – что это милый не приходит?... Местечко, значит, занято! Та-ак!..

Он засмеялся, надел шляпу и, не прощаясь, вышел...

Александра Михайловна радушно говорила:

– Садитесь, Иван Карлыч! Сейчас будем чай пить!

Она все еще не могла справиться с бившею ее дрожью. Лестман с недоумением следил за нею.

– Такой нахал этот Ляхов, просто я не понимаю! – сказала она. – С самого того времени, как Андрей Иванович помер, не дает мне нигде проходу. В мастерской пристаёт, на улице, на квартире вот... И придумать не могу, как мне от него отделаться!

Лестман покачал головою.

– Он всегда был нахал. Это не было корошо, что ваш муж уж давно его не прогонял.

Александра Михайловна сходила за кипятком, заварила

чай. Лестман молча стал пить. От его приглаженных, словно полинявших волос, от плоского лица с редкою бородкою несло безнадежно трезвою скукою.

– Что это у вас, Иван Карлыч, рука завязана? – спросила Александра Михайловна.

– Это я себе руку зарезал на работе... Фельдшер посыпал каким-то пульвером, и еще больше заболела. Только я понял, что фельдшер неправильно сделает. «Нет, – я думаю, – надо не так». Взял спермацетной мази, снупса и вазелина, сделал мазь, положил на тряпку, и все сделалось сторовое. Теперь уже можно работать, а раньше эту целую неделю и не работал.

– А у вас как, платят, когда заболеешь?

– Если доктор записку дает, тогда платят семьдесят пять копеек за каждый день. У нас доктор очень добрый, всем дает, а только я не хотел брать. Мастер всегда сердится за это. Лучше же я не буду брать, тогда он мне будет давать хорошую работу.

Александра Михайловна вздохнула.

– Видно, везде мастера обижают рабочего человека!

– А вам и теперь всегда дают плохую работу? – осторожно спросил Лестман.

– Плохую. Так теснит мастер, просто я не знаю. Уж думаю, не перейти ли в другую мастерскую.

Лестман медленно мигнул, и в белесых глазах проползло что-то. Александра Михайловна прикусила губу и замолчала.

ла. Ей стало ясно: да, он ждет, чтобы она совсем запуталась и чтоб тогда пошла к нему. И ей вдруг представилось: где-нибудь в темной глубине моря сидит большая, лупоглазая рыба и разевает широкий рот и ждет, когда подплывет мелкая рыбешка, чтоб слопать ее.

– Вы сколько же теперь саработаете? – осторожно выпытывал Лестман.

Александра Михайловна стала врать.

– Да зарабатываю собственно ничего. Двадцать рублей, когда постараясья, – двадцать пять. Жить можно, ничего, а только все-таки обидно, – зачем они неправильно поступают!

Она низко наклонилась над чашкою, чтоб Лестман не видел ее лица, а сама думала: «Всем, всем им нужно одного – женского мяса: душу чужую по дороге съедят, только бы добраться до него...» Она резко и неохотно стала отвечать на вопросы Лестмана, но он этого не замечал. Помолчит, выпьет стакан чаю и расскажет, как он в Тапсе собирал муравьиные яйца для соловьев.

– Нужно взять две ольховые палочки, сдирать с них козицу и в воскресенье утром положить крестом на муравьиную кучу. Все муравьи уйдут. Можно эти яйца продавать, фунт стоит восемьдесят пять копеек.

И опять молчит.

Наконец он встал уходить. Александра Михайловна проводила его до выхода, воротилась и села к окну. Смутные

мысли тупо шевелились в мозгу. Она не старалась их поймать и с угрюмою, бездумною сосредоточенностью смотрела в окно. Темнело. В комнату сходились жильцы, за перегородкою пьяные водопроводчики играли на гармонике. Александра Михайловна надела на голову платочек и вышла на улицу.

В сумерках по панели проспекта двигалась праздничная толпа, конки, звеня и лязгая, черными громадами катились к мосту. Проходили мужчины – в картузах, фуражках, шляпах. У всех были животные, скрыто похотливые и беспощадные в своей похотливости лица. Толпа двигалась, одни лица сменялись другими, и за всеми ими таилась та же прячущаяся до случая, не знающая пощады мысль о женском мясе.

Александра Михайловна свернула в боковую улицу. Здесь было тише. Еще сильнее, чем всегда, она ощущала в теле что-то тоскливо сосущее; чего-то хотелось, что-то было нужно, а что, – Александра Михайловна не могла определить. И она думала, от чего это постоянное чувство, – от голода ли, от не дававших покоя дум, или оттого, что жить так скучно и скверно? На углу тускло светил фонарь над вывескою трактира.

Стыдясь самой себя, Александра Михайловна подумала: «Зайти разве, выпить?»

Она постояла, внимательно огляделась по сторонам и тихонько скользнула в дверь.

Народу в трактире было немного. За средним столом, под

лампой-молнией, три парня-штукатур пили чай и водку, у окна сидела за пивом пожилая, крупная женщина с черными бровями. Александра Михайловна пробралась в угол и спросила водки.

Молодой штукатур, с пухлым лицом и большим, как у рыбы, ртом, обнимал своего соседа и целовался с ним.

– Пушай же об нас люди говорят, что мы худо поступаем!.. Пушай. Один истинный бог над нами! Алешка, верно я сказал?... Ярославец, еще бутылочку!

– Ваня! Будет, не надо!

– Ну, «будет»!

– Не надо!

– Эй, еще бутылочку!

– Ваня, не рассчитывай!

Чернобровая женщина, держа кружку за ручку, с враждебным вниманием слушала их.

Половой поставил перед Александрой Михайловной графинчик, она налила рюмку и выпила. Водка захватила горло, обожгла желудок и приятным теплом разлилась по жилам. Как будто сразу во всем теле что-то подправилось, понурая спина выпрямилась и стало исчезать обычное ощущение, что чего-то не хватает.

– Нет, не буду больше пить! – решительно произнес Алешка. Он взял с соседнего стола «Петербургский листок», хотел было начать читать и положил назад на стол. – Не стоит браться! – сказал он.



Чернобровая женщина, все так же враждебно глядя на него, громко спросила:

– Почему не стоит браться за литературу? Литература издается для просвещения! В ней пишут сотрудники, умные люди! Как же это за нее не стоит браться?

Штукатуры оглянулись и продолжали разговаривать. Чернобровая женщина обратилась к Александре Михайловне:

– Вот какой народ здесь в Петербургской губернии! Самый дикий народ, самый грубый. Поезжайте вы в Архангельскую губернию или Ярославскую. Вот там так развитой народ. И чем дальше, тем лучше. А в Смоленской губернии!.. Оттуда такое письмо тебе пришлют, что любо читать. А здесь, конечно, обломы все, только что в человеческой коже. Как они говорят: «Эка! пущай!..»

Через час Александра Михайловна вместе с чернобровой женщиной выходила из трактира. Александра Михайловна рыдала и била себя кулаком в грудь.

– Я честная женщина, я не могу! – твердила она. – Уйду, уйду, от всех уйду!.. Жить хочешь, так потеряй себя... Все терпеть, терпеть!.. Куда же уйти-то мне, господи?

Волосы ее выбивались из-под платка, она качала растрепанною головою, а чернобровая женщина своим громким, уверенным голосом говорила:

– Это иезуитское правило – всякий способ оправдывает свое средство!.. Иезуитское нормальное состояние...

## V

В понедельник утром рассыльный положил перед Александрой Михайловной две толстые пачки веленевых листов.

– Подожди, что это такое? Почему мне два листа? Всем по одному дано.

– Мне какое дело, велено! – И рассыльный пошел дальше.

– Я не возьму, неси назад к мастеру, мне не надо!

За веленевые листы платят почти столько же, сколько за обыкновенные; между тем фальцевать веленевую бумагу много труднее: номеров страниц не видно даже на свет, приходится отгибать углы, чтоб номер пришелся на номер; бумага ломается, при сгибании образуются складки.

Александра Михайловна пошла в контору к хозяину. Там был и Василий Матвеев.

– Виктор Николаевич, позвольте узнать, почему мне дали два листа «Европейской флоры»? Всем по одному дано фальцевать, Поляковой ничего, а мне два.

Семидалов вопросительно взглянул на Василия Матвеева. Он развел руками и суетливо наклонился к хозяину.

– Так пришлось, Виктор Николаевич, ничего не поделаешь. Нужно же кому-нибудь дать, поровну на всех не поделишь.

– Вот Поляковой бы ты и дал, – сказала Александра Михайловна.

Матвеев покосился на нее.

– У Поляковой другая работа есть.

– Да-а, другая работа! Шитье в прорезку!

– Это все равно! – поучающе произнес хозяин. – Такую трудную работу нужно всем делить поровну, она права, работа на работу не приходится; нужно так распределять, чтоб никому не было обидно. Я вам это сколько раз говорил, вы знаете, я люблю, чтобы все делалось справедливо.

Александра Михайловна с торжеством воротилась в мастерскую. Следом вошел Василий Матвеев. Он медленно обошел работавших, потом остановился около Александры Михайловны.

– Ты хозяину жаловаться! Посмотрим, много ли выгадаешь. Хочешь выше мастера быть?... Ладно!

Через два дня шить в проколку эту же «Флору» досталось опять Александре Михайловне. Раздачею шитья заведовал Соколов, один из помощников Василия Матвеева. Александра Михайловна пошла к нему объясняться. Соколов грубо крикнул:

– Что это тут за королева объявилась?... Шей, что дают, и не рассуждай.

– Мне, милый мой, рассуждать нечего, а я к хозяину пойду, – спокойно возразила Александра Михайловна и отправилась в контору.

Хозяин выслушал Александру Михайловну и нахмурился.

– Знаете, голубушка, нельзя же все уже так поровну делить. Работа разная бывает, приходится иногда и потяжелее работу сделать.

С этих пор, завидев входящую в контору Александру Михайловну, Семидалов стал уходить. Первое время после ее поступления в мастерскую он покровительствовал ей «в память мужа», перед которым чувствовал себя в душе несколько виноватым. И его раздражало, что на этом основании она предъявляет требования, каких ни одна девушка не предъявляла, и что к ней нужно относиться как-то особенно, – не так, как к другим.

Вообще в конторе совсем иначе относились к девушкам, чем к переплетным подмастерьям. С подмастерьями считались, их требования принимались во внимание. Требования же девушек вызывали лишь негодующее недоумение, и они находились в полной власти Василия Матвеева с помощниками. Подмастерья получали расчет каждую неделю, девушки – через две недели. Подмастерья имели законные расчетные книжки, девушкам заработок вписывался в простые тетрадки. Иногда, просматривая списки с платою, хозяин находил, что такая-то девушка заработала слишком много, вычеркивал девять рублей и вместо них ставил восемь.

– Попробовал бы он с нами так-то, мы бы ему показали! – смеялись подмастерья, когда девушки рассказывали им про это.

И Александра Михайловна не могла понять, потому ли

так покорны девушки, что им нет управы на контору, или потому и нет управы, что они так покорны. Она саднящими руками вкалывала иглу в плотную, как кожа, веленевую бумагу и с глухою ненавистью следила за Василием Матвеевым: жирный, краснорожий, надувшийся дарового кофе с вишневою, он прохаживался между верстаками, отдуваясь и рыгая. Как будто барин расхаживался среди своих крепостных. А девушки, ругавшие его за глаза, в глаза были предупредительны и почтительны.

Мастерская становилась Александре Михайловне все противнее. Противна была и сама работа, и шедшая от залежавшихся листов пыль, и тянувшийся с лестницы запах варившегося внизу клея. Противны были люди кругом. Брошюранты, работавшие вперемежку с девушками, нарочно говорили при них сальности и вызывали их на сальные ответы. Но противнее всего было, когда девушки ссорились между собою. А ссорились они часто, из-за каждого пустяка. И тогда одна бросала в лицо другой грязные, вонючие оскорбления и громко уличала ее, что она живет на содержании у ретушера Образцова, а кроме того, бегаёт ночевать к Володьке-водопроводчику. Бесстыдно рассказывались невероятные вещи о подброшенных и задушенных детях, о продаже себя за бутылку пива. Мастера и брошюранты, засунув руки за пояс блуз, толпились вокруг и, довольные, покатывались со смеху; девочки-подростки с жадным любопытством слушали, блестя глазами. А поссорившиеся, как пьяные, не

чувствовали своего унижения и продолжали перебрасываться смрадными словами.

Больше всего Александру Михайловну поражало, что среди девушек не было решительно никаких товарищеских чувств. Все знали, что Грунька Полякова, любовница Василия Матвеева, передает ему обо всем, что делается и говорится в мастерской, – и все-таки все разговаривали с нею, даже заискивали. И Александра Михайловна вспомнила, как покойный Андрей Иванович с товарищами жестоко, до полусмерти, избил однажды, на празднике иконы, подмастерья Гусева, наушничавшего на товарищей хозяину.

Вообще Александра Михайловна часто вспоминала теперь Андрея Ивановича и удивлялась, что не замечала раньше, какой он был умный и хороший. В его мыслях, прежде чуждых ей и далеких, как мысли книги, она теперь чувствовала правду, живую и горячую, как кровь. Ей понятным становилось его страстное преклонение перед товариществом, тоска по слабости этого товарищества в жизни. Почему, например, девушки втайне относятся друг к другу, как к врагам, когда всем им было бы лучше, если бы они держались дружно? И Александра Михайловна пробовала говорить им это, убеждать, но, как только доходило до дела, она чувствовала, что и самой ей приходится плюнуть на все, если не хочет остаться ни при чем.

Привезут из типографии новые листы. Все девушки насторожатся, глаза беспокойно бегают. Нельзя зевать, нужно

узнать, выгодная ли работа; если выгодная, – нужно добыть ее или выклянчить у мастера. Листы обернуты картузною си-нею бумагою и обвязаны бечевкою. Девушки толпятся во-круг, беспокойно шушукаются, расспрашивают друг друга. Входит мастер.

– У кого работа на исходе? – спрашивает он.

– У меня вся, – отзывается Александра Михайловна.

Таня испуганно шепчет:

– Зачем говорите? Молчите! Я смотрела: бумага тол-стая-претолстая, и на свет номера не видать!

Рассыльный кладет перед Александрой Михайловной пахнущую типографскою краской кипу.

– Зачем говорите, не узнавши? – с сожалением поучает ее Таня. – Вы так всегда будете с плохой работой.

– Да как же узнаешь-то? – раздраженно возражает Алек-сандра Михайловна и, глотая слезы, глядит на толстую кипу, за которую опять получит гроши.

– А вы раньше спросите девушку, которая цензурные эк-земпляры фальцевала. Или вот, как мы сейчас сделали: на-дорвали на уголке картузную бумагу и подсмотрели. Развер-нуть нельзя, тогда уже не позволят отказаться, а так никто не заметит, что надорван угол, а заметят, – скажут: мужик вносил, углом зацепил за косяк. Тут, знаете, если смирной быть, только одни объедки будут доставаться.

Таня нравилась Александре Михайловне все больше. Все-гда она была предупредительная, всегда готовая на помощь.

Они теперь работали за одним верстаком, и Таня обучала Александру Михайловну приемам работы, показывала, какими способами добывать ее. Возьмет, например, выгодную работу у Василия Матвеева, потом идет наверх к Соколову. Соколов отказывает: «Тебе пусть Матвеев дает». – «У него нету, он к тебе послал». Наберет работы себе и Александре Михайловне и сложит все под верстаком. Когда же грозит невыгодная работа или когда Василий Матвеев тянет выдачу, отговариваясь недосугом, они достают из-под верстака запасную работу и делают ее.

– Как ты, Танечка, все достать умеешь! – восхищалась Александра Михайловна.

Таня гордо отвечала:

– Тут иначе нельзя. От косоглазого справедливости разве дождешься? Всякую пакость сделает, особенно нам с вами, что мы его презираем, не уступаем ему. Вы знаете, как к нему в комнату ни зайдешь, – сейчас начинается: пойдя с ним на любовь... С боровом этим жирным! Такой дурак! Думает, не обернемся без него. Как же!

Александра Михайловна вздохнула.

– Тебе-то вот хорошо. Работаешь ты легко, на свете одна, – много ли тебе нужно? А вот как мне-то! Девочку надо кормить, работать никак не приноровлюсь. Уж так другой раз тяжело, просто и не знаю.

Таня молча теребила и сгибала угол бракованного листа. Поколебавшись, она заговорила:



– «Много ли нужно»... Я вам, Александра Михайловна, всю правду скажу: мне много-много денег нужно! Мне сто рублей нужно, вот сколько. Потому я так и стараюсь. Вы знаете, осенью Петя кончает службу, нужно какого-нибудь дела искать. Надумал он поступить в артельщики, в биржевую артель. Дело отличное, пятьдесят рублей жалованья, доходы есть. А только нужно залог в двести рублей; для начала можно сто, – другие сто из жалованья будут вычитать. Вот видите, сколько мне нужно. Восемьдесят рублей я уже скопила, еще двадцать осталось. Бог даст, в три месяца все сто будут готовы, и на свадьбу еще останется. Я бы и еще скорее набрала, да нужно тоже Пете помогать; вы знаете, как плохо в солдатах жить без денег... Поступит в артель, и сейчас же женимся; мастерскую брошу...

И, забывая о работе, она без конца говорила о своей любви и ожидаемой жизни.

## VI

Была середина июля. Пора стояла глухая, заказы в мастерскую поступали вяло. Хозяин распустил всех девушек, которые работали в мастерской меньше пяти лет; в их числе были уволены Александра Михайловна и Таня. Они поступили на кондитерскую фабрику Крымова и К<sup>о</sup>, на Васильевском острове.

В обширных подвалах сотни девушек и женщин чистили крыжовник и вишни, перебирали клубнику, малину, абрикосы. От ягод в подвалах стоял веселый летний запах, можно было на месте есть ягоды до отвалу, и платили по шестьдесят копеек в день. Но это была временная работа, через две недели она прекратилась.

Александра Михайловна стала искать швейной работы. Она надеялась найти дело, с которого можно будет жить. В Старо-Александровском рынке ей дали на пробу сшить полдюжины рубашек с воротами в две петли, по гривеннику за рубашку. Она заняла у Тани швейную машину, шила два дня, потратила две катушки ниток. В рынке с нею расплатились по восемь копеек за рубашку.

– Вы же по десять отдавали! – возмутилась Александра Михайловна.

Хозяин холодно ответил:

– Нет, это не пойдет. Желаете по восемь копеек, – изволь-

те, шейте! А по десять нам не подходит.

– Подходит не подходит, а отдавали за десять, и должны по десять заплатить!

– Василий, убери товар! – вздохнул хозяин и взялся за жестяной чайник.

Александра Михайловна, прикусив губу, в упор смотрела на веснушчатое, худощавое лицо хозяина.

– Ну, прощай, разживайся с моих двенадцати копеек!

– Доброго здоровья! – лениво отозвался хозяин, отхлебывая из стакана желтый чай.

Александра Михайловна возвращалась домой по Невскому. Был Ильин день. Солнце село; в конце проспекта в золотой дымке зари темнел адмиралтейский шпиль. Александра Михайловна вяло шла – униженная, раздраженная. Она посчитала: за два дня, за вычетом катушек, она заработала тридцать шесть копеек. Спускались прозрачные, душные сумерки. По панелям двигались гуляющие, коляски и пролетки с нарядными людьми проносились на острова. Из раскрытых дверей магазинов несло прохладой, запахом закусок и фруктов; за зеркальными стеклами красовались на блюдах огромные рыбы в гарнире, паштеты, заливные. Александра Михайловна угрюмыми, волчьими глазами смотрела на все, и в душе взмывала злоба.

Навстречу медленным, раскачивающимся шагом шла девушка, поглядывая на встречных мужчин. В руках был розовый зонтик, розовая кофточка плотно облегла корсет.

Александра Михайловна, в отрепанной юбке, с поношенным платком на голове, внимательно оглядывала ее. Глаза их встретились. Из-под наведенных черных бровей взгляд девушки с презрительным вызовом отбросил от себя полный отвращения взгляд Александры Михайловны. Александра Михайловна остановилась и долго, с пристальным, гадливым любопытством, смотрела вслед.

На углу Владимирской девушку нагнал высокий господин в цилиндре. Он близко заглянул ей в лицо и что-то сказал. Они сели вместе на извозчика и покатали по Литейному. Александра Михайловна медленно пошла дальше.

«Просто все это делается! – с негодующею усмешкою думала она. – Оглядели, как корову, взяли и повезли, и она спокойно едет и позволит делать с собою, что угодно. Тварь бесстыдная!..»

Александра Михайловна думала так, а сама потихоньку косилась на свое отражение в зеркальных стеклах магазинов; у нее красивое лицо, с мягкими и густыми русыми волосами, красивая фигура. Если бы затянуться в корсет, надеть изящную розовую кофточку, на нее заглядывались бы мужчины.

И одновременно два слоя мыслей шли через ее голову, как, бывает, по небу идут, не мешаясь, два слоя облаков. Одни мысли – ясные и малоподвижные – говорили, как позорно для женщины продавать первому встречному то, чего никому нельзя продавать. Другие мысли, мутные и тяжелые, быстро шли понизу, у них не было ясных очертаний, и они

говорили, что все это, напротив, очень просто; у женщин есть что-то, что тянет к себе мужчин, за что они щедрее и охотнее всего дают деньги; и нужно этим пользоваться, глупо терпеть, – для чего? Отчего не продавать и этого? И можно тогда бросить мастерскую, где пахнет пылью и вареным клеем, где брошюранты говорят сальности и ходит, рыгая, краснорожий Василий Матвеев... Александра Михайловна с тайным удовольствием прислушивалась к этим мыслям и в то же время с гадливым презрением вспоминала, как спокойно сидела в пролетке девушка, которую увозивший ее к себе незнакомый человек обнимал за талию.

Темнело. В воздухе томило, с юга медленно поднимались тучи. Легкая пыль пробегала по широкой и белой Дворцовой площади, быстро проносилась коляска, упруго прыгая на шинах. Александра Михайловна перешла Дворцовый мост, Биржевой. По берегу Малой Невы пошли бульвары. Под густою листвою пахло травой и лесом, от каналов тянуло запахом стоячей воды. В полутьме слышался сдержанный смех, стояли смутные шорохи, чуялись любовь и счастье.

На юге вспыхнула синяя, бесшумная молния. Улицы становились странно тихими, только белая пыль изредка кружилась. Александра Михайловна присела на скамейку. Никогда раньше так страстно не хотелось ей счастья – неслышанно большого, вольного и бурливого. Гульнуть, развернуться так, чтобы насквозь прожгло горячим огнем и душу и тело. Чтобы вихрем вынесло ее из этой унижительной, гряз-

ной и скучной жизни. Ей казалось, теперь она начала понимать те приступы мучительной, рвущейся куда-то тоски, которая так часто охватывала Андрея Ивановича. Раньше она только недоумевала перед ними: было бы в доме тихо и мирно, хватило бы на жизнь денег, – чего ж еще? Его же это тихий мир и давил. И казалось ей, – теперь и ее бы этот мир не удовлетворил. Хотелось чего-то другого, чего, – все равно, но только чтоб подняться над этой жизнью.

Александра Михайловна воротилась домой. Был десятый час вечера. Зина спала. В душевной комнате тускло горела лампа. Жена тряпичника, в рваной рубашке, сидела на постели и ругалась через перегородку с хозяйкою. Сегодня праздник; скоро воротится тряпичник, безмерно пьяный; опять начнет она ругать его, и он, как собачонку, загонит ее под кровать и будет бить там кочергой, а когда он, наконец, устанет и заснет, она выползет из-под кровати и со стоном будет отдирать запекшуюся в крови рубашку от избитого тела. Уйти бы куда-нибудь! Александра Михайловна решила пойти к Тане.

Таня жила на том же дворе, в другом флигеле. Она выбежала на звонок – сияющая, радостная. И вдруг глаза потухли, лицо потемнело.

Александра Михайловна сконфуженно спросила:

– Я не вовремя?

– Нет... пожалуйста... – ответила Таня упавшим голосом.

В маленькой чердачной комнате, с косым потолком и око-

шечком сбоку было чисто и девически-уютно. По карнизам шли красиво вырезанные фестончики из белой бумаги, на высокой постели лежали две большие, обшитые кружевами, несмятые подушки. Подушки эти клались только на день, для красоты, а спала Таня на другой подушке, маленькой и жесткой.

За столом сидела приятельница Тани, портниха Прасковья Федоровна. На столе ворчал потухавший самовар, стояла бутылка водки, кильки и колбаса.

Таня, в черной юбке и серой шелковой кофточке, была неестественно оживлена, говорлива, и глаза ее блестели.

– Давайте выпьем! – предложила она. – Для кого приготовлено, тот не пришел, – и не надо! Без него обойдемся!

Они выпили по рюмке и стали закусывать.

– Ты Петра Ивановича ждала? – спросила Александра Михайловна.

– Кого ждала, того нету! – засмеялась Таня, выскребая из склизкой кильки коричневые внутренности.

Потом вдруг перестала смеяться и замолчала.

– Второй уж раз что-то не приходит, – задумчиво сказала она. – И прошлое воскресенье задаром прождала. Что это – уж не знаю. Скучно что-то. Думается, – может, он так себе только, за глупостями гнался! Повозился, свое получил – и прочь... – Таня молчала, размазывая вилкою внутренности нетронутой кильки. – Не должно бы этого быть, сто рублей нужны, чтоб в артель внести, а в нынешнее время разве легко

такую невесту найти? А только видела я недавно, шел он с одного двора, – говорит: тетка больная, а мне думается, не от Феньки ли папиросницы он шел?... Ну, выпьем еще! – лихо предложила она и налила по второй рюмке.

Прасковья Федоровна запротивилась.

– Ну, Танечка, что ты! Больно уж скоро!

– Ничего, а то с первой чтой-то закуска в рот не идет. Рюмочки маленькие.

– Вы когда же насчет свадьбы думаете? – спросила Прасковья Федоровна.

– Думали под филипповки венчаться.

Прасковья Федоровна вздохнула:

– И наша тогда же будет.

– А вы тоже замуж выходите? – спросила Александра Михайловна.

– Да.

– За кого?

– За портного одного. За кого же портнихе выходить! – засмеялась она.

– Такой противный! – заметила Таня. – Хромой, нос на сторону, рожа – вот!

Она смешно скосила губы и подперла пальцем нос на сторону. Все засмеялись.

– Хороший человек?

– Не знаю, я его мало видела, – равнодушно ответила Прасковья Федоровна.



Александра Михайловна помолчала.

– Что же вам спешить? Погодили бы, пригляделись. Знаете, другой раз бывает: поспешишь, а потом пожалеешь.

– Работать трудно, – устало произнесла Прасковья Федоровна. – Мастерская у хозяйки темная, все глаза болят. Профессор Донберг вылечил, а только сказал, чтоб больше не шить, а то ослепнешь.

– А может, и у мужа придется шить?

Прасковья Федоровна оживилась.

– Та работа легкая. Мужское платье всегда выгодно шить. А дамская работа, вы знаете, какая капризная: чтоб платье и отделка под тон были, чтоб жанр соблюсти, чтоб фасон подходил к лицу. Учительница – она требует, чтоб фасон был серьезный. Душеньке какой-нибудь, – ей шик надобен.

– Бывает так: выйдешь не подумавши, а потом другого полюбишь, – задумчиво проговорила Александра Михайловна.

Прасковья Федоровна хитро улыбнулась, скользнула взглядом в сторону и, покраснев, искоса взглянула на Александру Михайловну.

– Да я и сейчас люблю!

И далекий отблеск глубоко скрытого, стыдящегося чувства слабо осветил ее лицо.

– Что же за него не идете?

– Да он меня не любит.

– А он знает, что вы его любите?

– Может, и не знает... А зачем к нам не ходит? Любил бы,

так ходил.

Ее худое лицо с большими черными глазами продолжало светиться, на губах легла девически-застенчивая улыбка.

– Нет, мой совет, подождали бы, – повторила Александра Михайловна.

– Теперь уж нельзя: обручальные кольца куплены... А только не дай бог, чтоб тот на обручение или на свадьбу ко мне попал, – то-то мне будет стыдно!

Прасковья Федоровна задумалась. Отблеск с ее лица исчез.

– Знаете, какие мне иногда глупости приходят в голову? – медленно проговорила она.

– Какие?

Прасковья Федоровна помолчала и удивленно раскрыла глаза.

– Зачем жить!

– Да что вы?

– Ей-богу! – с улыбкой подтвердила она.

Таня, засунув руки меж колен, блестящими от хмеля глазами смотрела вдаль.

– Ну, будет, что там!.. Скучно! – вдруг сказала она. – Давайте что-нибудь веселое делать. Эх, музыки нету, я бы потанцевала!

Она уперлась рукою в бок и заплясала, веселая и удалая, притопывая каблуками.

– Ну, ну, пойте! – настойчиво приказала Таня, стараясь

рассеять налегшую на всех тучу тоски.

Она кружилась, притопывала ногами и вздрагивала плечом, совсем как деревенская девка, и было смешно видеть это у ней, затянутой в корсет, с пушистою, изящною прическою. Александра Михайловна и Прасковья Федоровна подпевали и хлопали в такт ладошами. У Александры Михайловны кружилась голова. От вольных, удалых движений Тани становилось на душе вольно, вырастали крылья, и казалось – все пустяки и жить на свете вовсе не так уж скучно.

– Дернем еще! – снова предложила Таня и быстро налила рюмки.

Прасковья Федоровна отказалась.

– Дернем! – лихо ответила Александра Михайловна, с влажными губами, часто и дробно смеясь.

В голове ее закружилось сильнее, становилось все веселее и вольнее; она подтопывала Тане, хлопала в такт ладошами и подпевала: «Эх!.. эх!..»

Запыхавшаяся Таня опустилась на кровать рядом с Прасковьей Федоровной и обняла ее.

– Ну, Парашенька, ты нам теперь спой!

Прасковья Федоровна, задумчиво смотревшая в окно, улыбалась.

Она стала петь. Пела она цыганские романсы и с цыганским пошибом. Голос у нее был звучный и сильный, казалось, ему было тесно в комнате, он бился о стены, словно стараясь раздвинуть их.

Дай упиться  
И насладиться  
Жизнью земной  
Вместе с тобой!

Александра Михайловна сидела у окна. В раскрытое окно рвался ветер и обвевал разгоревшееся лицо. За березами палисадника теперь почти непрерывно вспыхивали бесшумные молнии. Прасковья Федоровна пела, задорно обрывала одни слова и с негою растягивала другие.

Предательский звук поцелуя  
Разы-дался в ночи-ной тишине...

Песня жгла жаждою страсти и ласк. И песня эта, и шедшие из тьмы шорохи, и разогретая хмелем кровь – все томило душу, и хотелось сладко плакать. Но тяжело лежала в душе мутная тоска и не давала подняться светлым слезам.

– Спой «Пару гнедых», – вдруг попросила Таня.

Прасковья Федоровна улыбнулась.

– Ну, Таня, что ты? Мне плакать не хочется!

– Ну, спой! Параша, спо-ой!.. – настойчиво и нетерпеливо повторила Таня.

– Вот какая... упрямая. Ну, хорошо!

Прасковья Федоровна запела. Пела она о том, какими раньше хорошими лошадьми были эти гнедые. «Ваша хозяй-

ка в старинные годы много имела хозяев сама... Юный корнет и седой генерал – каждый искал в ней любви и забавы...» И вот она состарилась и грязною нищенкою умирает в углу. И та же пара гнедых, теперь тощих и голодных, везет ее на кладбище.

Тихо туманное утро в столице.  
По улице медленно дроги ползут.

Голос певицы вдруг оборвался, она замолчала. Александра Михайловна низко опустила голову. Мутная тоска вздымалась с душевного дна, душили светлые слезы; и другие слезы, горькие, как полынь, подступали к горлу.

– Что это, слезы выступают! Вот смешно! – засмеялась Прасковья Федоровна, быстро утерла глаза и продолжала:

В гробе сосновом останки блудницы  
Пара гнедых еле-еле везут...  
Кто ж провожает ее на кладбище?  
Нет у нее ни друзей, ни... родных...

И опять голос ее оборвался. Александра Михайловна всхлипнула. Таня наклонилась над столом, сжав руками виски. И сидели они все трое и, уткнувшись в руки, ревели, не стыдясь друг друга, и каждая думала о себе...

Александра Михайловна воротилась домой поздно, пьяная и печальная. В комнате было еще душнее, пьяный тря-

пичник спал, раскинувшись на кровати; его жидкая борода уморительно торчала кверху, на лице было смешение добродушия и тупого зверства; жена его, как тень, сидела на табурете, растрепанная, почти голая и страшная; левый глаз не был виден под огромным, раздувшимся синяком, а правый горел, как уголь. По крыше барабанил крупный дождь.

Александра Михайловна подняла спящую Зину и целовала ее и плакала.

## VII

В этом году Семидалов праздновал на Успение двадцатипятилетие существования своего переплетно-брошюровочного заведения.

Накануне всех девушек заставили с обеда мыть, чистить и убирать мастерские. Они ворчали и возмущались, говорили, что они не полы мыть нанимались, да и поломойки моют полы за деньги, а их заставляют работать даром. Однако все мыли, злые и угрюмые от унизительности работы и несправедливости.

Торжество началось молебном. Впереди стоял вместе с женою Семидалов, во фраке, с приветливым, готовым на ласку лицом. Его окружали конторщики и мастера, а за ними толпились подмастерья и девушки. После молебна фотограф, присланный по заказу Семидалова из газетной редакции, снял на дворе общую группу, с хозяином и мастерами в центре.

Странно было видеть, как вежливо и предупредительно разговаривал теперь Семидалов с фальцовщицами, – совсем как с дамами своего круга. Они, принаряженные, приятно улыбались и на его шутки тоже отвечали шутками. Александра Михайловна, с завитою гривкою на лбу, так же приятно улыбалась, разговаривала с ним, как с добрым знакомым, и старалась незаметно прикрыть рукою заштопанный

локоть на своей парадной кофточке.

– Ну, господа, прошу покорно закусить! – объявил Семидалов.

Один стол был накрыт в конторе для хозяина, мастеров и конторщиков, другой – внизу – для подмастерьев, третий – в брошировочной для девушек. Фальцовщицы поднялись наверх и нерешительно толкались вокруг стола. Среди бутылок стояли на больших блюдах два огромных нарезанных пирога, кругом на тарелках пестрели закуски.

– С чем пирог-то?

– С визигой.

– Ишь, на икону всегда только водку и пиво ставят, а сегодня и наливка и вино... И сардинки тоже.

– Это как же, сюда и детей можно приводить? – спросила Александра Михайловна Таню.

У стола неизвестно откуда появились дети всех возрастов и жались к своим матерям.

– Д-да... Не гонят, – ответила Таня.

– Эх, Зину я не привела, не знала! – вздохнула Александра Михайловна.

Толпа девушек всколыхнулась и подтянулась. Вошел Семидалов в сопровождении конторщика, Василия Матвеева и газетного репортера. Матвеев поспешно налил в маленькую рюмку рябиновки и подал на тарелке хозяину. Семидалов взял рюмку, поднял ее в уровень с плечом и обратился к девушкам с речью. Василий Матвеев тем временем наливал



в рюмки девушек водку и наливки. Хозяин говорил что-то чувствительное насчет их совместной работы в течение двадцати пяти лет, насчет того, что интересы его работниц всегда были ему так же дороги, как и его собственные; попросил и впредь со всякою нуждою прямо и откровенно обращаться к нему. Девушки слушали и беспокойно косились на стол, высматривая закуску.

Хозяин кончил, перечокался с девушками и вышел. Вдруг как будто ветром колыхнуло девушек и бросило всех к столу. Александра Михайловна получила толчок в бок и посторонилась; стол скрылся за жадно наклоненными спинами и быстро двигавшимися локтями. Фокина со злым, решительным лицом проталкивалась из толпы, держа в руках бутылку портвейна и тарелку с тремя большими кусками пирога. Гавриловна хватала бутылку с английской горькой, Манька жадно ела сардинки из большой жестянки.

– Да полегче же, господа! Что это за безобразие! – возмущались голоса.

Полякова сердито кричала Маньке:

– Ты что все сардинки забрала? Съела пару и передай дальше, возьми чего другого!

Александра Михайловна, прислонившись к верстаку, изумленно смотрела. В дверях стоял старый конторщик и хохотал, глядя на свалку у стола. Снизу, пережевывая закуску, поднялись подмастерья, заглядывали в дверь и посмеивались.

К Александре Михайловне подошла Таня с двумя кусками пирога на тарелке.

– Вы что же не берете ничего?

– Я подожду, когда они возьмут, – сдержанно ответила Александра Михайловна.

Таня улыбнулась.

– Тогда вам ничего не достанется. Вот вам кусок, давайте вместе есть.

Стол опустел. Фальцовщицы, спиной друг к другу, поедали по углам добычу и одеяли ею приведенных детей.

– Это у вас всегда так? – спросила удивленная Александра Михайловна.

Таня, закусив губу, с презрением оглядывала деливших добычу девушек и смеявшихся в дверях подмастерьев.

– Тут, у девушек, всегда. В переплетной, у подмастерьев, там все честь-честью делается: выпьют, закусят, потом опять выпьют. А здесь – только моргни, все расхватают. Такие жадины, боятся, как бы кому больше не досталось. Другая тут поест, еще вниз идет, к подмастерьям. Те ее, конечно, гонят прочь: «Чего тебе тут? Вам там наверху накрыто!..»

Закуски были съедены, напитки выпиты. Столы отодвинуты в сторону, явились подмастерья. Начались танцы. Пожилые работницы уходили с детьми домой.

Александра Михайловна выпила маленькую рюмку наливки, и ей хотелось веселиться. В большие окна смотрел туманный день и бледным светом отражался на полу. Алек-

сандра Михайловна вглядывалась в давно приглядевшиеся лица девушек, и в тускло-белом, трезвом свете дня их хмельные лица казались отвратительными. Она видела, как подмастерья разговаривали и шутили с девушками, как обхватывали их и прижимали к туловищу, когда танцевали: никогда бы они так не держались с женами и дочерьми своих товарищей... Александра Михайловна вспомнила Андрея Ивановича, вспомнила высланную из Петербурга Елизавету Алексеевну и ее знакомых, и казалось ей: и она, и все кругом живут и двигаются в какой-то глубокой, темной яме; наверху брезжит свет, яркими огоньками загораются мысль, честь и гордость, а они копошатся здесь, в сырой тьме, ко всему равнодушные, чуждые свету, как мокрицы.

И перед Александрой Михайловной встала гордая голова Андрея Ивановича. Как хорошо было жить тогда, как хорошо было чувствовать над собою его сильную и уверенную в себе волю...

Темнело. Переплетный подмастерье Генрихсен, толстый и усатый, отдуваясь, танцевал с Поляковой русскую. Кругом смотрели и смеялись. Снизу поднялся сильно пьяный Ляхов. Бледный, с падающими на лоб волосами, он пошатывался на месте и выглядывал кого-то в толпе танцующих.

Александра Михайловна поспешно подошла к Тане.

– Что, Танечка, смотреть? Будет! Пойдем лучше, пройдемся.

Они вышли на улицу. Туман стал еще гуще. Как будто

громадный, толстый слой сырой паутины спустился на город и опутал улицы, дома, реку. Огни фонарей светились тускло-желтыми пятнами, дышать было тяжело и сыро.

– Да, недаром покойник Андрей Иванович презирал женщин, – задумчиво сказала Александра Михайловна. – Смотрю я вот на наших девушек и думаю: верно ведь он говорил. Пойдет девушка на работу – бесстыдная станет, водку пьет. Андрей Иванович всегда говорил: дело женщины – хозяйство, дети... И умирал, говорил мне: «Один завет тебе, Шурочка: не иди к нам в мастерскую!» Он знал, что говорил, он очень был умный человек...

Они перешли Тучков мост и свернули на бульвар Среднего проспекта. Александра Михайловна мечтательно рассказывала:

– Бывало, когда жив был, хорошо все это так было, тихо, весело... В будни дома сидишь, шьешь на девочку, на мужа. В праздники пирог спечешь, коньяку купишь; он увидит, – обрадуется. «Вот, скажет, Шурочка, молодец! Дай, я тебя поцелую!» Коньяк он, можно сказать, обожал... Вечером вместе в Зоологический, бывало, поедем... Хорошо, Танечка, замужем жить. О деньгах не думаешь, никого не боишься, один тебе хозяин – муж. Никому в обиду тебя не даст... Вот бы тебе поскорей выйти!

– Я скоро выйду.

– Да ну? – Александра Михайловна заглянула в улыбавшееся лицо Тани. – Петра Иваныча видаешь?

– Как же! С тех пор как, помните, вы у меня были, три раза приходил. Дура я такая, бог знает, что тогда подумала. А у него вправду тетка хворала, больше ничего. Недавно даже померла, хоронил в воскресенье... Сядем здесь!

Они сели на скамейку бульвара около Шестой линии. Окна магазинов были темны, только в мелочных лавочках светились огни. По бульвару двигалась праздничная толпа. Заморосил мелкий дождь. Туманная паутина насадала на город и становилась все гуще. Электрический фонарь на перекрестке, сияя ярким огнем, шипел и жужжал, как будто громадная голубая муха запуталась в туманной паутине и билась, не в силах вырваться.

– Август месяц теперь, – сказала Таня. – В октябре или ноябре венчаться будем, он сам сказал. Отбудет службу, и сейчас же в артельщики, ему уж обещали. И сто рублей к тому времени будут готовы.

– Ну, дай тебе бог!

Таня оживилась.

– А правда, Александра Михайловна, красивый он? Всякий, кто ни посмотрит, удивляется. Из всей команды его наперед ставят на смотрах. Все девушки на него заглядываются. А он говорит: «Никого мне не надо, только тебя, говорит, одну я люблю...» И, знаете, я вам уж всю правду скажу: я беременна от него. Третий месяц... Ребеночек будет у нас. Правда, смешно?

Она не стыдилась, гордая своей любовью. Она радостно

улыбалась и рассказывала без конца. На пушистых золотых волосах осели мелкие капельки дождя, от круглого лица веяло счастьем. И казалось, сквозь холодный осенний туман светится теплая, счастливая весна. Александра Михайловна расспрашивала, давала советы, и на душе ее тоже становилось тепло и чисто.

Ярко-синий огонь в фонаре шумел и жужжал и бессильно бился, плотно охваченный мутным туманом.

– Ну, Танечка, домой пора... Пойдем!

Они встали. Мимо со смехом прошла компания из двух девушек и трех кавалеров. В темноте блеснули золотые буквы на черно-оранжевом околыше матросской фуражки.

Таня дрогнула и остановилась.

– Петька! – крикнула она, быстро повернулась и пошла догонять компанию.

Александра Михайловна стояла и ждала. Вдали, в тумане, что-то вдруг колыхнулось. Темные силуэты заметались, взмахивая руками. Александра Михайловна поспешно пошла туда.

Таня стояла, прислонясь спиной к стене дома и опустив голову, а высокая девушка, в шляпе с красным пером, била ее по лицу. Компания стояла в отдалении и смотрела. Девушка лихо повернулась и, гордо неся голову, пошла к своим.

– Погоди же ты, Петька, – всхлипнула Таня.

– Что-о?!

Девушка быстро воротилась к Тане и снова сильно, с раз-

маху, стала сверху бить ее по лицу. Прохожий парень весело гаркнул:

– Бе-ей!

Собиралась толпа.

– Баба – бабу!.. Ловко! – смеялись в толпе.

Девушка громко крикнула:

– Еще просишь? Просишь, что ль, еще?

Таня стояла, закрыв лицо руками.

– Дово-ольно! – всхлипнула она, втягивая носом лившуюся кровь.

Девушка пошла к компании, и они с громким смехом исчезли в тумане.

## VIII

В начале сентября работа в мастерской кипела. Наступил книжный и учебный сезон, в громадном количестве шли партии учебников. Теперь кончали в десять часов вечера, мастерскую запирали на ключ и раньше никого не выпускали. Но выпадали вечера, когда делать было нечего, а девушек все-таки держали до десяти: мастера за сверхурочные часы получали по пятнадцати копеек в час, и они в это время, тайно от хозяина, работали свою частную работу – заказ писчебумажного магазина на школьные тетради.

Был такой вечер. Девушки – злые, раздраженные – слонялись по мастерской без дела. Только Грунька Полякова, не спеша, фальцевала на угол объявления о санатогене, – работа легкая и выгодная, – да шили книги две девушки, на днях угостившие Матвеева мадерой.

Александра Михайловна забыла оставить дома поужинать Зине; на душе у нее кипело: девочка ляжет спать, не евши, а она тут, неизвестно для чего, сидит сложа руки. В комнатах стоял громкий говор. За верстаком хихикала Манька, которую прижал к углу забредший снизу подмастерье Новиков. Гавриловна переругивалась с двумя молодыми брошюрантами; они хохотали на ее бесстыдные фразы и подзадоривали ее, Гавриловна делала свирепое лицо, а в морщинистых углах черных губ дрожала самодовольная улыбка.



Александра Михайловна вошла в комнату мастера и решительно сказала:

– Василий Матвеев, давай работы! А нет работы, так отпусти: у меня ребенок дома ждет.

– Да сейчас же, сейчас привезут листы, сказано вам! – нетерпеливо-увещающим голосом возразил Василий Матвеев. – Мужик уж час назад в типографию поехал.

– И вовсе никуда мужик не поехал! А в десять часов скажешь: «Видно, задержали его, идите домой»... Отпусти... Василий Матвеев!

– Чтой-то ты, Колосова, много разговариваешь!

Он удивленно поднял на нее тусклые, косые глаза.

Было в них спокойствие, и уверенное сознание силы, и нетерпеливая скука, как от привязавшейся ничтожной мухи. И противно и жутко стало Александре Михайловне: сколько власти над ними дано этому человеку! Закусив губу, она молча вышла вон.

У окна сидела Таня и, облокотившись о подоконник, задумчиво смотрела сквозь стекла на темную улицу. Александра Михайловна под села к ней. Таня очнулась от задумчивости и привычным движением оправила пушистые волосы.

– А Фокина, ведьма, разглядела, подлая, что я беременна. Сейчас спрашивает меня: «Что это ты, Танечка, словно полнеешь в талии?» Уж по всей мастерской раструбила.

– Э, наплевать!

Таня гордо встрепенулась.

– Да понятное дело, плевать! Очень нужно!.. – Она замолчала и опять стала смотреть в окно. – А ко мне вчера Петя приходил, прощения просил.

– Долго собирался! Две недели целых! – усмехнулась Александра Михайловна.

– Ему стыдно было, не смел... Говорит, очень ему тогда было жалко меня, а только совестно было перед товарищами заступиться... Это Фенька-папиросница была.

– Хорош молодец! Говорит – любит, а совестно заступиться!

– Нет, Александра Михайловна, вы так не говорите. Он хороший. Зачем вы об нем так плохо понимаете? Конечно, всем завидно – всякой лестно такого красавца отбить. А он этой Феньки-шлюхи больше и видеть не может. Только, говорит, накопишь сто рублей, – и женимся.

– А знаешь, Танечка, что мне думается? Не любит он тебя. Любил бы, не говорил бы все про деньги.

Таня тоскливо повела плечами.

– Александра Михайловна, да как же вы не понимаете? Ведь ему, правда, деньги нужны, без залога в артель не принимают. Как же жить будем?... Хорошо еще, пока залог берут небольшой; а скоро, говорят, семсот рублей будут требовать. Очень уж много желающих... – Она поспешно прервала себя: – Батюшки, ведь сегодня суббота! А лампадка не оправлена, не зажжена!..

Таня взобралась на верстак, перекрестилась и стала оправлять лампадку. Мимо проходил брошюрант Егорка. Он протянул руку горстью по направлению к стоявшей на цыпочках Тане, подмигнул и сделал неприличный жест. Брошюранты засмеялись. Таня оглянулась и, покраснев, быстро протянула руку, чтобы оправить юбку. Рука задела за лампадку, лампадка перекувыркнулась и дугою полетела на верстак. Зазвенело разбившееся стекло, осколки посыпались на пол. Таня соскочила с верстака.

– Ах, батюшки! – в испуге вскрикнула она.

Зеленое масло, перемешанное с нагаром, пролилось на стопку ярко раскрашенных обложек. От обгорелого фитиля расплывались пятна на девочку и собаку в зелени и на красное заглавие «Приключения Амишки», угол высокой стопки медленно впитывал в себя грязное масло.

Василий Матвеев вышел из своей комнаты.

– Что случилось? – Он подошел к верстаку, взглянул на залитую стопку и строго нахмурился. – Кто это сделал?

Таня ответила:

– Я.

– Та-ак... – Василий Матвеев стал перебирать стопку и вздохнул. – Придется перепечатывать тебе! Вот, пятьсот штук залила!

Таня обомлела.

– Сколько же это будет стоить?

– В восемь красочек печатана. Рублей пятьдесят запла-

тишь... Пойти, хозяину показать.

Он лениво пошел назад в свою комнату. Дарья Петровна испуганно зашептала:

– Пойди, поговори с ним! Может, что можно сделать, хозяин не узнает... А скажет, – готово дело, придется тебе на свой счет печатать.

– И вправду, иди скорей! – сказала Фокина.

Дарья Петровна в ужасе качала головой:

– Пятьдесят рублей, – что же это, господи!

Таня с испуганным, растерянным лицом пошла к мастеру. Через две минуты она воротилась. Бледная, с большими, сразу впавшими глазами, она припала к верстаку и зарыдала.

– Что он сказал тебе? – спрашивала Александра Михайловна.

– Подлец, негодяй грязный!.. Негодяй, негодяй, негодяй!..

– Да что он сказал-то тебе?

– Могу, говорит, сделать, что хозяин ничего не узнает!..

Оо-о!.. Мерзавцы подлые!..

Таня быстро подняла голову, глаза блеснули. Громко и раздельно она сказала:

– Поедем, говорит... в баню с тобой! – И, зарыдав, она припала грудью к верстаку.

– В баню, говорит, поедем! – передала Александра Михайловна окружающим. Бешеная злоба сдавила ей дыхание. Хотелось, чтобы кто-нибудь громко, исступленно крикнул: «Девушки, да куда же мы будем терпеть?!» И чтоб всем

вбежать к Матвееву, повалить его и бить, бить эту поганую тушу ногами, стульями, топтать каблуками... Дарья Петровна с сожалением смотрела на Таню, глаза Фокиной мрачно горели.

Таня рыдала, не глядя на окружающих. Гавриловна цинично усмехнулась и махнула рукою.

– Э, ступай, чего там! Тоже, подумаешь... Авось, не лужа, останется и для мужа.

Вошел Василий Матвеев, красный, с злыми глазами.

– Ты что тут на меня врешь? – злобно обратился он к Тане.

Таня, прижимая руки к груди, в упор смотрела на Матвеева.

– Подлец ты, подлец, Василий Матвеев!

– Вам что тут нужно, чего толчетесь? – крикнул Матвеев на девушек. – Ступай, берись за работу! Что за беспорядок!

Фокина грубо спросила:

– За какую работу-то браться?

– Аль все нету еще? Ну, значит, не готовы листы в типографии. Можно шабашить.

Девушки стали расходиться. Таня рыдала, припав к верстаку. Александра Михайловна положила руку на ее плечо.

– Ну, Таня, будет! Что уж так убиваться! Ведь прибавил, небось, мастер. Ну, двадцать пять, тридцать рублей вычтут, работаешь ты хорошо, скоро наверстаешь.

Таня в тоске заломила руки.

– Александра Михайловна, милая! Мне спешить нужно!

Еще год пройдет, – не женится на мне Петя. Ребенок у меня скоро будет, а он легкий сердцем, закрутят его. Другую невесту найдет с приданым. За такого всякая пойдет. Теперь не женится, бросит...

Она замолчала, широко раскрытыми, красными и опущенными глазами глядя перед собою.

– У-у, подлец грязный! – с отвращением всхлипнула она, и трепет пробежал по ее телу.

И она продолжала неподвижно смотреть перед собою. И вдруг подняла на Александру Михайловну свое распухшее, жалкое лицо.

– Скучно мне, Александра Михайловна... Милая!.. Так скучно!.. – ломающимся от слез голосом воскликнула она и схватилась за руку Александры Михайловны, – крепко, как будто стараясь удержаться за нее.

Задышавшись, Александра Михайловна заговорила:

– Таня, слушай! Не бойся, я тебе все устрою!.. Не бойся, иди домой, вот увидишь, все выйдет по-хорошему... Я к тебе нынче же приду, жди меня, слышишь?... Вот увидишь, как все будет хорошо... Не бойся! – радостно повторяла она.

Александра Михайловна вышла в прихожую и поспешно оделась. Внизу слышен был говор спускавшихся по лестнице девушек. Александра Михайловна догнала их.

– Девушки, слушайте! – одушевленно заговорила она. – Давайте, соберем меж собой деньги и поможем Тане!

Дарья Петровна растерянно взглянула на нее и смешалась.

– Правда, девушки! – убеждала Александра Михайловна. – Ну, что стоит! По рублю, по два всякая может дать. Не помрем с голоду из-за рубля. А ей помощь будет... Все над Васьюкою Матвеевым посмеемся.

Фокина, покручивая головою, молча смотрела в глаза Александре Михайловне и вдруг громко расхохоталась.

– Ловко придумала!.. У меня вот пятеро ребят, – нужно их накормить, ай нет? Выдумала... Очень нужно!

Другая девушка враждебно возразила:

– Рубль! Для бедного человека рубль много значит, если он нужен.

– Ничего, пускай съездит в баньку, попарится с мастером. За баню не платить, все экономия! – сказала Гавриловна и хрипло засмеялась.

## IX

Александра Михайловна возвращалась домой с Дарьей Петровной. Ее поразило: не только никто не откликнулся на ее призыв, а напротив, после первого взрыва возмущения явилась даже как будто вражда к Тане. Никто даже не обрежал Гавриловну за ее гнусные слова. За что все это?... Возбуждение Александры Михайловны сменилось усталостью, на душе было обычное тупое отвращение ко всему.

Дарья Петровна угодливо заглядывала Александре Михайловне в глаза и своим смиренным голосом говорила:

– Знаете, где ж у нас что собрать. Ведь сами все вроде как бы нищие живут. А у ней вон, у Танечки, говорят, не одна уж десятка припасена.

Александра Михайловна молчала. Они проходили по Большому проспекту мимо трактира.

– Зайдем, выпьем полбутылочки, – предложила Дарья Петровна, как будто стараясь чем-нибудь загладить свой отказ.

– Нет, мне домой пора, девочка ждет! Она сегодня еще не ужинавши.

– Вы не стесняйтесь! У меня сейчас деньги есть, другой раз вы меня угостите. А девочка все равно уж заснула.

Александра Михайловна колебалась: домой идти – придется зайти к Тане. А что она ей теперь скажет?... Алек-



сандра Михайловна согласилась.

Они вошли в трактир; Александра Михайловна прошла в заднюю комнату, конфузливо опустив лицо. Подали водку. Они выпили по рюмке.

Наверху ухал и гудел орган. Около окна сидел стройный студент-медик и читал «Стрекозу». Полная, высокая девушка в пышной шляпе пила за соседним столом пиво и громко переговаривалась через комнату с другою девушкою, сидевшею у печки.

Дарья Петровна налила рюмки. Они снова выпили, Александра Михайловна вздохнула.

– Эх, жалко мне Таню!

Дарья Петровна подняла на нее глаза и улыбнулась медленно, загадочною улыбкою.

– Ничего-то вы, Александра Михайловна, не знаете, ничего не понимаете! Знаете, я вам по секрету скажу: рано, поздно, все равно не миновать Танечке косоглазого... Поглядите сами, разве с нашей работы можно честно прожить? Не она первая, не она последняя.

Александра Михайловна широко раскрыла глаза. Дарья Петровна продолжала:

– Я вам всю правду скажу: все так делают. Ведь Василий Матвеев у нас все равно, что хозяин, сами знаете. Хочет – даст жить, не хочет – изморит работою, а получишь грош. И везде так, везде мастеру над девушками власть дана. А есть-то всякой хочется. Ведь человек для того и живет, чтобы ему

полегче было... Поступит девушка, – ну, сначала, конечно, бодается, пока сил хватает, а потом и уступит. Что ж делать, если свет нынче стал такой нехороший?

Дарья Петровна снова наполнила рюмки и выпила свою. Александра Михайловна, не шевелясь, смотрела на нее.

– Хорошо вот, вы такая гордая, настойчивая, – льстиво говорила Дарья Петровна. – А много ли у нас таких? Грунька Полякова, сами знаете, и сейчас живет с ним. Маньку два раза к себе увозил. С Гавриловной когда-то целый год жил. А Фокина вот, – на что уж непоклонная, а сколько раз к нему хаживала, как помоложе была... Я вам правду скажу: которая девушка замужняя или помощи имеет со стороны, ну, та может куражиться. А нет помощи, что ж поделаешь? Вон у Фокиной пятеро ребят, всех одень-обуй; как тут куражиться?

– И вы, вы тоже уступали ему?!

– Я... я-то?... Я-то нет... Зачем я ему буду уступать?

– Господи, и как не стыдно! – Александра Михайловна глядела ей в глаза и качала головою.

Дарья Петровна хмелела. В ее смиренных глазах мелькнули ненависть и вызов.

– Что ж – «стыдно»? Со стыдом, милая, сыта не будешь!.. Еще поглядим, как другие-то всякие себя соблюдут.

Новое что-то, широкое и страшное, раскрывалось перед Александрой Михайловной. Так вот оно что! Вот отчего все были так странно равнодушны, когда она сообщала о при-

ставаниях к ней мастера, вот почему была словно тайная радость, когда Таня попала в беду.

Они замолчали. Александра Михайловна залпом выпила свою рюмку. В голове шумело, перед глазами было смиренное, желто-бледное, ничего не выражающее лицо Дарьи Петровны. И жутко было это отсутствие выражения после того, что она сейчас говорила.

Наверху по-прежнему ухал и звенел орган. Полная девушка в пышной шляпке переговаривалась с нарумяненной девушкой, сидевшей у печки.

– Ты вчера именинница была? – спрашивала нарумяненная девушка.

– Нет, меня вправду Матреной звать, а не Лизаветой. А это я студента одного надула, чтоб подарок мне сделал. Я двенадцать раз в году именинницей бываю: и на Веру-Надежду-Любовь, и на Катерину, и на Зинаиду, и на Наталью... Вот подвязки подарил; говорит, три рубля отдал. Врет, конечно, не больше полутора заплатил.

Полная девушка, не стесняясь, подняла юбку выше колена и показала новые ярко-красные подвязки.

Она говорила громким, немного сиплым голосом, с веселой улыбкой, и видно было, что говорит она не для подруги, а для студента.

Студент опустил «Стрекозу» и посмотрел на девушку. Она спросила его:

– Правда, яркие?

Дарья Петровна зашептала:

– Это Матрешка Грушева, тоже в нашей мастерской была. Как бы не узнала. Такая бесстыдная, нахальная. Заговорит при всех, оконфузит перед людьми.

– Вот, студенты-медики! Такой это народ – ничего не боятся! – сказала полная девушка, обращаясь к подруге. – В воскресенье ночевала я у одного на Введенской улице; проснулась ночью, хватъ – прямо рукою за стелет зацепила! Кости сухие висят, щелкают, – такие страсти! И спят себе, не боятся ничего. То-то живодеры!.. И шутки тоже любят шутить. Намедни идем мы три девки, все пьяные вдрызг, «мама» сказать не можем. Взяли нас студенты, повезли куда-то. Пьяна я была, ничего не помню, не знаю, что они с нами делали. Только проснулась, вижу – холодный кто-то рядом. Зажгла спичку, – мертвец!.. В анатомический завезли нас, подлецы! Кожа содрана, руки скрючены. У меня весь хмель соскочил. Нам бы три ступеньки вверх подняться, они все там были, а мы – вниз, да поскорее домой. Не знаю, как добрались, рукав весь в крови испачкан, карболовкой пахнет.

Она оглядела всех, медленно улыбаясь. Дарья Петровна поспешно наклонилась лицом над скатертью. Александра Михайловна слушала с пристальным детским любопытством, стыдясь и удивляясь, как она все это может рассказывать. Девушка подметила выражение ее взгляда, увидела бедную, отрепанную одежду соседок и продолжала, рисуясь своим бесстыдством.

– А все-таки люблю студентов – хороший народ, правильный! Не то, что купцы, – те все жулики. Намедни гуляю по прищепту, важный купец подошел – в котелке, пальто шевиотовое. Приехал со мною ко мне, полбутылки коньяку спросил в два рубля, лимонаду. Ну, думаю, не иначе, как он мне двадцать пять рублей за ночь заплатит. Легли спать. Вижу, хороший человек, подвалилась ему под бочок и заснула. Он потихоньку встал, оделся и удрал. Слышу, дверь хлопнула. Вскочила, – как бежать за ним? Я совсем голая! Люблю, говорит, чтоб девушка со мной голая спала... Так и удрал, ничего не заплативши. И за коньяк самой пришлось отдать деньги... Ну, да я ему еще отплачу! Кислоты на двадцать копеек куплю, пойду гулять, встренусь, я его сразу узнаю, – да сзади потихоньку все пальто ему и оболую. В пятьдесят рублей ему моя ночевка встанет.

Студент положил газету на колени и слушал, слегка улыбаясь. Он был красивый и стройный, с мягкой русою бородою.

Девушка оправила пунцовый бантик на полной, белой шее и вздохнула.

– До чего я толстею! Запонка не сходится, пришлось на самый край перешить пуговку... Вот Лелька, та сухая, как кошка: идет гулять, за корсет полотенце записывает. А мне этого не надо, у меня все свое, натуральное...

Девушка медленно взглянула на студента.

– Вот в кого бы я влюбилась! Какой хорошенький – пре-

лесть!.. Мужчина, пойдем со мной! – вполголоса прибавила она.

Студент сердито нахмурился и молча взялся за журнал.

Она пересела к его столу и переставила туда свою бутылку с пивом. Бутылка студента была уже пуста.

– Я только сегодня в бане была, чистенькая! – сказала девушка и налила из своей бутылки пиво в стакан студента.

Студент возмутился.

– Не надо, зачем вы мне наливаете?

– Это моя бутылка, я плачу, – успокоила его девушка.

Студент выпил и, чтобы отплатить, спросил еще бутылку. Девушка отказалась.

– Нет, больше не стану пить! Я уж с семи часов по кабакам. Еще много придется, будет!.. Ну, цыпочка, вставай, пойдем вместе.

– Не пойду я! – сердито ответил студент, сконфуженно косясь по сторонам.

Девушка расплатилась и медленно, качающеся походкою вышла, сверкнув в дверях яркую шляпкою. Студент посидел, поспешно встал и тоже вышел.

– Шкура подлая! – с ненавистью и отвращением сказала Дарья Петровна.

Александра Михайловна, пораженная, молчала. Никогда она раньше не думала, чтоб все это делалось так бесстыдно и открыто. И именно в этом дерзком, вызывающем бесстыдстве было что-то странно привлекательное. Она смотрела на

желто-бледное, иссохшее в работе лицо Дарьи Петровны и сравнивала его с полным, веселым лицом ушедшей девушки. Дарья Петровна презирает ее, а за что? Все они точно так же из расчета отдаются мужчинам, а хотят казаться честными, зато сохнут и надрываются в скучной мастерской, а та смелая, ничего не боится и не стыдится! Ушла из мастерской, и вот живет в бесшабашно-веселом, ярком мире, шикарную, изящно одетою.

Александра Михайловна возвращалась домой. В голове шумело, и в этом шуме подплывали к сознанию уже знакомые ей уродливые, самое ее пугавшие мысли. Может быть, потому, что молодой человек, с которым ушла девушка, был красив, и в Александре Михайловне проснулась женщина, но на душе было грустно и одиноко. И она думала: проходит ее молодость, гибнет напрасно красота. Кому польза, что она идет честным путем?...

И вдруг смутные, робко касавшиеся сознания мысли плавным порывом ворвались в сознание, слились в яркую, смелую и радостную от своей смелости мысль: да! на все наплевать, глупо быть честною! Для чего надо дорожить собою, видеть в себе что-то важное, особенное, чему словно и цены нет? Ведь все это так просто, так удивительно просто и ясно! Не видеть постылой мастерской, жить вольно и красиво, пить вкусный и дорогой коньяк, давать обнимать себя красивым молодым студентам. И день весь будет свободный, Зина не будет бегать без призора и ложиться спать голодною...

Что в этом плохого?

Было поздно. По пустынному проспекту изредка проходили накрашенные, разодетые женщины. Их темные фигуры медленно появлялись из мрака. При блеске газовых фонарей грубые румяна казались веселым румянцем, сами женщины были прекрасны в своей таинственности и смелом презрении своем к людскому мнению. Александра Михайловна с тайным замиранием долго ходила по проспекту и широкими, детски-любопытными глазами провожала каждую женщину: да, они поняли, что все это просто и естественно, и не побоялись пойти на это. И теперь они казались Александре Михайловне близкими и родными.



## X

Ввиду спешной работы в мастерской работали и в воскресенье до часу дня. У Александры Михайловны с похмелья болела голова, ее тошнило, и все кругом казалось еще серее, еще отвратительнее, чем всегда. Таня не пришла. У Александры Михайловны щемило на душе, что и сегодня утром, до работы, она не провела Таню: проспала, трещала голова, и нужно было спешить в мастерскую, пока не заперли дверей. Александра Михайловна решила зайти к Тане после обеда.

Кругом стояло обычное шуршание сворачиваемых листов, спины девушек обнообразно сгибались и разгибались. Василий Матвеев возился около обрезной машины, обрезывал какие-то яркие обложки и, обрезав, тщательно осматривал каждую. Александра Михайловна, вся полная воспоминанием о вчерашних признаниях Дарьи Петровны, с необычным чувством, как прозревшая, осматривалась вокруг. Междвигавшихся голов девушек мелькали жирные плечи и короткая шея Василия Матвеева. И у него и у них всех были такие буднично-спокойные, ничего не выражавшие лица!.. Как будто вовсе и не лежало между ними той ужасной, грязной тайны, о которой вчера узнала Александра Михайловна, или как будто эта тайна была чем-то совсем обычным, что не может ни давить, ни мучить.

Выходя в час из мастерской, Александра Михайловна

слышала, как хозяин кричал в конторе на Василия Матвеева, а тот суетился, разводил руками и что-то объяснял Семидалову.

Под вечер Александра Михайловна сидела у себя и шила. Вошла Дарья Петровна.

– А-а... Здравствуйте! – Александра Михайловна приветливо поднялась. – Садитесь, пожалуйста!.. Чайку позволите?

– Нет, нет, не трудитесь! Я к вам только на одну минуточку, спросить хотела: где вы бумазею покупали к той вон кофточке, в которой на празднике были?

Александра Михайловна сказала:

– Благодарю вас. Очень уж мне рисунок приглянулся. Ну, прощайте! Я спешу. – Дарья Петровна помолчала. – А Танечка-то наша, слышали? – вздохнула она.

Александра Михайловна встрепенулась.

– Что?

– Ведь пошла... к Ваське-то Матвееву.

– Не мо-ожет быть!

У Александры Михайловны опустились руки, и она медленно села на кровать.

– Верно. Девушки видели... И как ловко он с обложками обернулся! Какие по краям были залиты – обрезал покороचे, стали, как новые, а которые больше были залиты – пустил в обрезки, хозяину сказал, что из типографии двух сотен не дослали. Хозяин раскричался: «Как же вы не сосчитали?» – «Я, говорит, считал, да вы меня позвали, а воротился, – му-

жик типографский уж уехал...» Жалко Танечку нашу, правда?

Она вздохнула, а желтое, смиренное лицо светилось тайной радостью.

– Господи, господи, что же это такое! – сказала Александра Михайловна. – То-то я сегодня утром шла, смотрю, как будто на той стороне Таня идет; кутает лицо платком, отвертывается... Нет, думаю, не она. А выходит, к нему шла... И какой со мною грех случился! – стала она оправдываться перед собою. – Хотела к ней утром зайти, не успела, девчонка задержала. А после работы зашла, уж не было ее дома...

Дарья Петровна ушла. Александра Михайловна села к окну и задумчиво уставилась на темневший двор.

«Жалко Танечку», – думала она. Но жалость была больше в мыслях. В душе с жалостью мешалось брезгливое презрение к Тане. Нет, она, Александра Михайловна, – она не пошла бы не только из-за пятидесяти рублей, а и с голоду бы помирала... Гадость какая! Она – честная, непродажная. И от этой мысли у нее было приятное ощущение чистоты, как будто она только что воротилась из бани. Не легкое это дело остаться честной, а она вот сохранила себя и всегда сохранит.

Пришел Лестман. Он пил чай и застенчиво крутил редкую бородку, а Александра Михайловна, вздыхая, рассказывала ему о происшествии с Таней. Ругала Василия Матвеева, жа-

лела Таню, и около губ чуть заметно играла скромно-гордая улыбка.

# XI

– Я... я знаю... Господи, что же это?... Пустите... Я знаю! – задыхаясь, твердила Александра Михайловна и с смертельно-бледным лицом проталкивалась сквозь толпу. – Городовой, это девушка одна... Я знаю!.. О господи!..

Она уже минуты три стояла в толпе, теснившейся на набережной. За краем гранитного спуска медленно плескались длинные зеленоватые волны, утреннее солнце глубоко освещало их и делало прозрачными, и на этом зеленоватом, плещущем фоне неподвижно рисовалось лежавшее на плитах тело девушки. Мокро-тяжелая черная юбка плотно облегла вытянутые ноги. Острые концы ботинок торчали в стороны. Александра Михайловна подалась вперед, чтоб разглядеть лицо, и с смутно жалостливым, жадным любопытством смотрела: широкий, чистый лоб; от угла рта по синеватой щеке тянулась струйка пенисто-темной жидкости. Вдруг серая шелковая кофточка на выступе груди показалась странно знакомою. Потом, вызывая недоумение, стали знакомыми округлость щеки, намокшие рыжеватые волосы. И загадочно-неизвестное чуждое лицо утопленницы вдруг превратилось в знакомое лицо Тани.

– Городовой, я знаю... Господи, господи!.. – повторяла Александра Михайловна. – Это девушка одна, Капитанова фамилия... Татьяна... О боже, что же это?

Городовой, вынув книжечку, записывал имя утопленницы и адрес Александры Михайловны, толпа приставала к Александре Михайловне с расспросами, а она, всхлипывая, повторяла: «Господи, господи!» и, не отрываясь, смотрела на Таню. Все в ней было близко знакомо и все – страшно, необычно, скрытно-чуждо. Вся она была пропитана тайно принятым вчера позором и одиночным ужасом пошедшей на самоуничтожение жизни.

И она лежала на мостовой, неподвижная, жалкая и загаженная. Мокрая юбка плотно облегла раздвинутые ноги, в этом было что-то особенно жалкое и беззащитное. Хотелось наклониться, оправить юбку, скрыть выставленные под чужие взгляды ноги. А за гранитным спуском все плескались прозрачно-зеленоватые длинные волны, и от них веяло сырým запахом водорослей.

Труп увезли. Александру Михайловну пригласили в участок, там еще раз записали все. Она вышла на улицу. Давно было пора идти в мастерскую, но Александра Михайловна забыла про нее. Она шла, и в ее глазах плескались зеленоватые, пахнувшие водорослями волны, и темно-пенистая струйка тянулась по круглой щеке.

Было яркое сентябрьское утро. Солнце золотым светом заливало дома, магазины и конки. На теневой стороне улиц, вдоль высоких домов, стояла туманно-синяя дымка.

Дворники в фиолетовых фуфайках мели улицы, по панелям шли люди с равнодушными, не знающими случившего-

ся лицами, они не только не знали о случившемся, они как будто не знали и того, как страшна жизнь и как беспомощны против нее люди.

И опять перед Александрой Михайловной плескались прозрачно-зеленоватые волны, и Таня лежала с плоскими, слипшимися на синеватом лбу волосами. Александра Михайловна вспомнила, как месяц назад на этих волосах, тогда живых и пушистых, дрожали капельки осеннего дождя, и они золотистым сиянием окружали круглое, весенне-счастливое лицо Тани. Она была горда своею любовью и вызывающе непреклонностью, – пришла жизнь, подстерегла и сломила непреклонность, гнусно загадила любовь, загадила и измяла все. И так со всеми ими – с девушками, с женщинами: за то, чтоб жить, мало отдавать труд и здоровье, – у них есть еще то, до чего жизнь жестоко жадна, и она не отступит, пока не возьмет и этого, пока в ее пахнущую кровью мясную лавочку смирившаяся женщина не принесет и своего мяса. А не смирится, будет стараться оставить своей душе ее дорогое и свое, – то не будет ей пощады, и кругом станет пустыня, где медленно умирают с голоду и крик отчаяния замирает без ответа.

Александра Михайловна вдруг почувствовала, что ведь и сама она давно уже находится в такой пустыне, что она беспомощно бродит по ней, а жизнь немигающим, злым, как у индюшки, глазом следит за нею и ждет. Встал перед нею Ляхов с тупо-беспощадным, жадным до нее лицом, встал Лест-

ман с проползающим в белесых глазах осторожным ожиданием, Василий Матвеев с косящими глазами, у которых нельзя поймать взгляда... Все это сливалось в один беспощадно-похотливый глаз, и мимо проносились девушки-работницы в отрепанных юбках, выплывавшие из мглы проспекта женщины с накрашенными лицами, плачущая над песней о гнедых Прасковья Федоровна и Таня с синеватым лицом, с ногами, плотно охваченными мокрою юбкою... И казалось Александре Михайловне: вот-вот подхватит ее, и унесет, и замешает в этот поток опозоренных, продавшихся за право жизни женских тел.

Она вышла к набережной. Широкая синяя река лениво и равнодушно плескалась под солнцем, забыв, что сделала сегодня ночью. И так же равнодушно смотрели ряды каменных громад, сверкавшие за рекою в голубом тумане. Александра Михайловна села на скамейку. Ею овладела смертельная усталость. Сгорбившись, с опустившимися плечами, она тупо смотрела вдаль. На что ей надеяться? Мрачно и пусто было впереди, и безысходный ужас был в этой пустоте.

«А зачем было так плохо поминать и Лестмана?» – вдруг мелькнуло у ней в голове. И осторожно, стараясь не натолкнуться в мыслях на возражения, Александра Михайловна продолжала думать: «Он не то, что другие; за нехорошим он не гонится, все хочет сделать по-честному».



## XII

В десятых числах ноября на Васильевском острове, в одной из квартир огромного грязного дома за Малым проспектом, шел свадебный пир. Гармоника играла кадрили, стол был заставлен пивными бутылками и бутербродами, в воздухе стоял русский, немецкий и эстонский говор. Александра Михайловна, с завитою гривкою на лбу и в корсете, танцевала со своим шафером, переплетным подмастерьем Генрихсеном. За два месяца, как она не работала в мастерской, она сильно располнела, особенно в нижней части лица, синие глаза смотрели спокойно и довольно.

Александра Михайловна говорила Генрихсену:

– Он смирный, трезвый. О девочке моей обещает заботиться. А в мастерской оставаться было невозможно: мастер притесняет, девушки, сами знаете, какие. Житья нет женщине, которая честная. Мне еще покойник Андрей Иванович говорил, предупреждал, чтоб не идти туда. И, правда, сама увидела я: там работать – значит потерять себя.

– Ну да, ка-анешна! Ну да! – соглашался толстяк Генрихсен и, ухватив Александру Михайловну за талию, устремлялся навстречу визави.

В голове у Александры Михайловны кружилось от выпитого пива. Она смотрела, как толстый Генрихсен, отдуваясь, вытанцовывал соло, и вспомнила, как он, так же отдува-

ясь, танцевал на празднике иконы русскую. Вспоминались ей грязь и позор мастерской, вспоминались бурливо, как в самоваре, кипевшие в мозгу думы о жизни и порывы к борьбе с нею. Тихое спокойствие охватывало душу – и радость, что не нужно больше дум и борьбы. Вставали лица девушек-подруг, на сердце шевелилось брезгливое презрение к ним, и Александра Михайловна с гордостью думала: «Кто захочет, у кого есть в душе совесть, та всегда останется честною».

Кадриль кончилась. К Александре Михайловне подсел Лестман, в белом галстуке и шершавом черном сюртуке. Громадные руки торчали из коротких рукавов. Он обнимал Александру Михайловну за плечи, заглядывая в лицо.

– Сурочка, как я тебя люблю! – в пьяном восторге твердил он, и жмурился, и в сотый раз лез целоваться.

*1898–1903*